

КАК БЫЛО И КАК ВСПОМНИЛОСЬ



ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ
С ИГОРЕМ ШАЙТАНОВЫМ

**Как было и как вспомнилось.
Шесть вечеров с
Игорем Шайтановым**

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6

Как было и как вспомнилось. Шесть вечеров с Игорем Шайтановым
/ «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906980-67-0

В книге «Как было и как вспомнилось...» собраны тексты разных жанров. Это и мемуарные свидетельства советского и постсоветского периодов, и литературоведческие статьи, и общественно-политические эссе, и переводы с английского, и шуточные экспромты. Объединяющее начало для этих разных текстов – личность Игоря Олеговича Шайтанова. Шесть глав книги – шесть вечеров – это беседы о литературном процессе и филологии середины 1960-х – начала 2000-х в тех аспектах, которые особенно важны для И. О. Шайтанова. Темы бесед и материалов: «вологодский текст» русской литературы, русская поэзия и проза XX века, Шекспир и эпоха Возрождения, российский и западный университет вчера и сегодня, литературный быт прошлого и настоящего, самостояние личности в потоке истории. Книга приурочена к юбилею И. О. Шайтанова и рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся развитием отечественной гуманитарной мысли во второй половине XX века.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-906980-67-0

, 2017
© Алетейя, 2017

Содержание

«Speak, memory!»	6
Вечер первый. «Деревянная столица»	12
«У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой...»	12
Игорь Шайтанов	18
Игорь Шайтанов	25
Олег Шайтанов	27
О вологодском быте середины прошлого столетия	33
Встреча с культурой на вологодской улице	33
Ирина Гура	36
Игорь Шайтанов	44
Игорь Шайтанов	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Е. Луценко, С. Чередниченко
Как было и как вспомнилось. Шесть
вечеров с Игорем Шайтановым

© Коллектив авторов, 2017

© Е. М. Луценко, С. А. Чередниченко, составление, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

«Speak, memory!» К юбилею Игоря Шайтанова

Летом прошлого года в редакцию журнала «Вопросы литературы» позвонила профессор РГГУ с предложением принять участие в работе над книгой «Компаративистика в контексте исторической поэтики» – юбилейном издании, или *Festschrift* – как любят обозначать этот жанр в Европе, – в честь заведующего кафедрой сравнительной истории литератур и главного редактора ВопЛей Игоря Олеговича Шайтанова. Именно тем августовским днем, в разгар сезона отдыха и отпусков, в редакции родилась идея не просто написать статью для научного тома РГГУ, но и создать свой *liber amicorum*, только не классического, а эссеистического характера – для более широкой неакадемической аудитории.

«Пусть это будет своего рода Shaytanov reader», – пошутил кто-то из нас, вспомнив о прижизненных изданиях текстов и интервью разных ученых-гуманитариев, собранных воедино, – с комментариями и предисловием, объясняющим их подборку. В определении концепции книги не последнюю роль сыграла и одна из важных установок для Шайтанова-компаративиста: задача филолога – «разговорить» текст таким образом, чтобы читатель ощутил современность текста, принадлежность эпохе, в которую он был создан. Поэтому внутренний повод книги – отнюдь не юбилейная дата сама по себе. Нет, это в широком смысле слова *разговор*, объединенный одной из главных фигур сегодняшнего литературного и научного процесса, – порой душевный, а порой довольно жесткий и честный – о литературной ситуации второй половины XX века, начиная с середины 1960-х и включая 2000-е. Это в немалой степени культурное свидетельство филологов-«семидесятников», которым «теперь уже <...> по семьдесят лет», как остроумно заметил в своем эссе Вл. Новиков.

В нашем издании Игорь Шайтанов – и главное действующее лицо, и сторонний наблюдатель. Шесть тем, лежащих в основе шести бесед с главным редактором ВЛ, родились не случайно. О Вологде, его родном и горячо любимом городе, университетском образовании в советское время и после перестройки, о литературном процессе и семинарах прошлого, об Англии и о Шекспире, в частности, – обо всем этом мы так или иначе часто говорили с ним на протяжении десяти лет совместной работы в «Вопросах литературы», на мастер-классах фонда С. А. Филатова для молодых критиков в Липках, во время кофе-брейков конференций в РГГУ и прогулок – после встреч журнала с читателями – в Москве и других городах России, а иногда и без особенного повода – за столом в радушном доме Шайтановых. Некоторые вечера навсегда останутся в памяти – стол, заботливо и изящно накрытый хозяйкой дома, звук бокалов красного вина «Менар», неторопливая беседа, перемежаемая шутками и байками прошлого, которых в арсенале хозяина дома неисчислимо количество. Шесть вечеров – мемориальное свидетельство, в котором листает страницы прошлого сама жизнь, раскрывая бережно хранимый памятью литературный быт. Одним словом, «Время действия – настоящее», – уверенно скажет И. Шайтанов в своей статье 1974 года о современной драматургии: пьесах Вампилова и их кино- и театральные переложениях.

Подзаголовок книги, современник ушедшей эпохи, косвенным образом отсылает к прогремевшей в конце 1970-х пьесе Володина, ставшей не только киношедевром благодаря актерской работе Ст. Любшина и Л. Гурченко, но и символом советского времени наряду с «Покровскими воротами» и «Иронией судьбы». Такой запомнилась Михалкову, Козакову и Рязанову эпоха: будучи частью своего времени, они не переставали творить его в своих фильмах. Эта же модель – в основе нашей книги.

Фундамент каждого раздела книги – интервью, жанр сиюминутный, разговорный. На слух и даже при прочтении порой сложно уловить все смыслы, события, имена, названия, о

которых говорит такой эрудированный собеседник, как Игорь Олегович Шайтанов. Много остается за кадром, и потому – для полноты картины в нашей книге мы предоставляем слово... текстам филолога, на которые он прямо или завуалированно ссылается в интервью. Эссе и статьи были собраны нами по крупицам из разных источников – вступительных текстов к книгам, которые автор готовил к печати в разные годы, воспоминаний об ушедших друзьях, ровесниках и старших современниках, политических газетных колонок 1990-х; кое-какие материалы – из личного архива *ИШ* (его традиционная подпись в деловых и-мейлах) – были старательно набраны нами на компьютере, ибо существовали только в машинописи. Так, для раздела о Вологде 1950-х годов, о детстве мальчика, встречавшего по недосмотру няньки смерть Сталина с красным флажком в руках и запомнившего «синие фанерные ларьки» с икрой, а вовсе не со сладким мороженым, были оцифрованы воспоминания декана исторического факультета Вологодского института Олега Владимировича Шайтанова, озаглавленные скромно, но с большим достоинством – «Кое-что из-под пепла».

«Как было и как вспомнилось» – название не случайное. Именно так была озаглавлена ранняя тоненькая книжечка Игоря Шайтанова о мемуарной прозе, увидевшая свет в начале 1980-х, когда поколение филологов, родившихся в далекие 1940-е, после окончания Великой Отечественной войны, лишь обретало творческую зрелость. Удивительно, какую россыпь имен дал тогдашний филологический факультет МГУ – на одном курсе с Игорем Шайтановым учились Александр Фейнберг, Александр Ливергант, Владимир Новиков, Юрий Фридштейн, Александр Сергиевский, Лев Соболев, Борис Дубин, Виктор Ерофеев, Михаил Филиппов; несколькими курсами старше была Екатерина Гениева, несколькими младше – Денис Драгунский... На русском отделении преподавали Сергей Михайлович Бонди и Николай Иванович Либан, среди зарубежных – любимый студентами Владимир Владимирович Рогов. То было время, когда Литпамятники «в теплое время выкладывали на столиках вдоль улицы Горького» и «за копейки была доступна любая книга» (из эссе «Мой друг Саня Фейнберг»).

Студенческие годы, о которых вспоминают на страницах книги филологи-семидесятники, поразительны калейдоскопичностью университетской и – шире – литературной атмосферы, двойственностью мировосприятия. С одной стороны, – дело Синявского, с другой – семинары Пospelова, душевное общение со старшими наставниками. В одной из бесед И. Шайтанов рассказывает любопытный эпизод о своем общении с Вл. Роговым:

Помню, я выхожу из Иностранки, которая тогда уже въехала в современное здание на Котельнической, а напротив был такой старорежимный пивной ларек с мокрыми столиками и огромными бочками, поставленными на попа. Встречаю Рогова, он меня манит в ларек (не помню даже, пили ли мы пиво), но помню, что он сообщил о последнем своем переводческом деле: «Перевел сонеты Милтона для тома в БВЛ». И тут же, на бочках, прочитал мне их, дав оригинал для сравнения (из интервью «Хотите кафедру медиевистики?»).

Но это лишь одна сторона медали, лишь маленький глоток воздуха. На самом деле занятия английским Возрождением и Шекспиром, начатые в студенческие годы на семинарах Рогова, Шайтанову в скором времени пришлось оставить, так как Рогов не мог прижиться на кафедре Самарина и ушел из университета. В силу тогдашнего расклада сил на кафедре зарубежной литературы МГУ осмысление английского Возрождения уступило место занятиям по английской драматургии XX века, изучение которой переросло для Игоря Шайтанова в сюжет кандидатской диссертации в МПГУ, так как рекомендации в аспирантуру МГУ после защиты диплома получить было нельзя:

...работал я увлеченно, но защита отбила у меня всякую дальнейшую охоту: профессор Ивашева (отношения с которой к этому времени у меня

совсем скили – я не приходил, не советовался, не выказывал интереса к обостренной классовой борьбе и поступательному движению английской литературы в сторону соцреализма, не разоблачал тех, кто с этого пути сошел или на него не встал) устроила мне идеологическую выволочку, так что председатель комиссии, приглашенный со стороны и мне лично незнакомый М. В. Урнов, изумленно встал на мою сторону, не будучи в курсе университетской закулисы (из эссе о Н. П. Михальской «Свобода быть собой...»).

На этом примере хорошо просматривается политическое настроение конца 1960-х годов – желанная свобода была близка, но все еще не вступила в свои права.

Еще один показательный творческий жест в осмыслении столкновения старой идеологии и новомыслия – знаменитый спектакль Георгия Товстоногова по хронике Шекспира «Генрих IV» (1972), на который Игорь Шайтанов откликнулся рецензией «В ней много слов и страсти». Спектакль, поразивший современников величиим замысла и актерским составом – С. Юрский, О. Борисов, Е. Лебедев, В. Стрижельчик, Е. Копелян... Это один из самых знаменитых шекспировских спектаклей в России во второй половине XX века, в котором режиссер БДТ увидел рождение Нового времени с его страстным и жизнеутверждающим ренессансным мироощущением, переданным драматургом в образе Фальстафа – «эпикурейца, богохульника, пьяницы и – в то же время – человека, который всем своим существом восстает против фанатизма средневекового, [выступая] за все то, что несла с собой новая эпоха и что раньше других предвидел и почувствовал великий драматург Шекспир» (цитата из видеоинтервью с Г. Товстоноговым, передача «Новое в театрах»). О Фальстафе двадцать лет спустя, в 1990-е и 2000-е, опытный лектор будет рассказывать на занятиях по эпохе Возрождения в РГГУ, всегда собиравших полные аудитории. В 1972-м же – взыскательный критик, с детства читавший Шекспира в оригинале, будет не во всем согласен с Товстоноговым и скажет об этом прямо, хотя текст опубликовать так и не удастся: «Никаких театральных связей у меня не было: написал и послал в журнал “Театр”. Ответили, что рецензия уже не то заказана, не то напечатана. Потом ее легко можно было бы напечатать, но почему-то не хотелось» (из переписки с ИШ).

В разговоре с Игорем Шайтановым редко услышишь одобрительные слова о театральных постановках Шекспира на современной сцене, если только это не сцена «Глобуса» или лужайка колледжа св. Магдалены в Оксфорде. Но тогда, в 1970-е, он охотно отзовется на призыв времени еще одной рецензией на Шекспира, посмотрев «Троила и Крессида» в постановке Красноярского молодежного театра, а позднее напишет большую работу об историзме шекспировских пьес. Эти тексты – в шестом разделе нашей книги.

К началу 1970-х относится еще одно важное творческое начинание, о котором теперь помнят, должно быть, лишь участники процесса. Постановлением ЦК КПСС 1971 года «О литературно-художественной критике» было решено регулярно проводить семинары молодых критиков. Руководитель и организатор проекта Валерий Дементьев так вспоминал о начале работы семинаров во вступительной статье к одному из сборников «Молодые о молодых», издававшихся по результатам работы творческих мастерских:

Осенью 1971 года состоялось зональное совещание молодых критиков в Комарове, весной 1972 года был проведен республиканский семинар в Дубултах <...> в марте 1973 года Совет по критике и литературоведению Союза писателей РСФСР совместно с ЦК ВЛКСМ провел Всероссийский семинар молодых критиков в Переделкине <...> Индивидуальные занятия, беседы с эстетиками и литературоведами, встречи с писателями – Мариэттой Шагинян, Николаем Тихоновым, Валентином Катаевым, Вадимом Кожевниковым, Виталием Озеровым, Сергеем Залыгиным, Андреем

Вознесенским, – все вместе взятое создавало неповторимую атмосферу переделкинских семинаров¹.

Среди участников проекта, принимавших в разные годы участие в семинарах в Комарове, Дубултах, Малеевке и Переделкине, – такие известные впоследствии критики и филологи, как Сергей Чупринин, Сергей Боровиков, Самуил Лурье, Георгий Анджипаридзе, Валентин Курбатов и др. Среди руководителей мастер-классов – Иосиф Львович Гринберг, Валерий Васильевич Дементьев, Инна Ивановна Ростовцева; почетной гостьей была приглашена Евгения Федоровна Книпович, много времени отдававшая общению с семинаристами. О ней – много лет спустя – Игорь Шайтанов напишет так:

Она была воплощением литературной среды, в которую мы входили, – старейший критик, один из влиятельнейших литераторов, но над всем этим парило – последняя любовь Блока, с кем поэт собирался ехать в Финляндию, но помешала смерть. Ко времени нашей встречи была красота лишь угадывалась в поразительного – какого-то фиалкового цвета – помертвевших глазах (из предисловия к интервью с Евгенией Книпович).

«Маленького роста, очень полный, он вечно топорщился свернутыми в трубочку журналами, которые торчали из всех карманов. Он нес литературу в себе», – таким запомнился семинаристам Гринберг (из интервью третьего вечера «Какая же это критика...»).

Мало кто знает, что в 1974 году в Дубултах родился шуточный союз трех молодых критиков – Самуила Лурье, Валентина Курбатова и Игоря Шайтанова, сочинивших совместный манифест «Платформа Дубулты», который совсем не вызвал восторга Дементьева – опять же политическая осторожность все еще давала о себе знать. Другой шуточный экзерсис трех масонов (выражение Лурье) – три разножанровых опуса о... вобле (предмете весьма не поэтическом и довольно бытовом), написанных на спор после творческого вечера украинского поэта Ивана Драча. Эти тексты впервые обретут своего читателя.

В своих опасениях Дементьев был отчасти прав – в 1970-е нужно было уметь хорошо писать не только о том, что нравилось, но и – прежде всего – о насущном, советском. Именно по этой причине, рассказывает в одном из интервью Игорь Шайтанов, его долго отказывались принимать в Союз писателей, так как не было нужных публикаций – о Фадееве или других советских классиках. В аспирантские годы Шайтанову хотелось написать кандидатскую диссертацию о жанре детектива – увы, увлекательный жанр был под подозрением, и авторитетный литературовед Борис Иванович Пуришев лишь неодобрительно покачал головой. Мечтал написать книгу о Заболоцком, а разрешили – про Асеева. Книга, надо сказать, была заинтересованно принята критиками, в частности, большой похвалой прозвучала рецензия Льва Озерова, младшего друга Асеева, и Владимира Новикова, написавшего о книге как о манифесте поколения критиков.

В 1980-е Игорь Шайтанов много размышлял о советской литературе, но по закону внутреннего сопротивления – больше об именах малоудобных для официальной критики – Замятине, Пильняке, Зощенко. О Замятине – готовил в «Дрофе» книгу, но серия, для которой она планировалась, к сожалению, закрылась. Безусловно, в жизни было и живое общение с советскими классиками – например, со Львом Адольфовичем Озеровым, с которым вместе бывали в разных поездках по долгу литературной службы (см. интервью «Модели запретов...»). «Рыцарь поэзии» – скажет о нем Шайтанов в своем мемуарном эссе.

В мемуарном разделе книги нет эссе о Татьяне Бек, с которой Игорь Шайтанов был хорошо знаком в 1990-е годы и работал одно время вместе в «Вопросах литературы» в начале

¹ Дементьев В. Критика – это наука // Молодые о молодых / Сост. и общая редакция В. Дементьева. М.: Молодая гвардия, 1974. С. 6–7.

2000-х. Это эссе, многократно переиздававшееся, как и многие статьи Шайтанова о поэзии, заинтересованный читатель без труда найдет в книге «Дело вкуса» (2007). Мы же предлагаем слово главному редактору журнала «Арион» Алексею Алехину («Шайтанов и “Арион”»), который вспоминает о поэтической ситуации 1990-х и о тесном литературном сотрудничестве с Игорем Шайтановым.

В марте 1992 года, перед моим отъездом в Россию, Джерри Смит, профессор русской литературы в Оксфорде, попросил меня найти «человека по имени Игорь Шайтанов» <...> Джерри хотел, чтобы я передала ему приглашение провести месяц в Оксфорде. Москва – большой город. На мое счастье <...> я встретила Игоря – совершенно случайно – в доме Нины Павловны Михальской, где мы втроем провели прекрасный вечер, обсуждая английскую литературу. Мне сразу стало ясно, что разговоры такого рода могут продолжаться месяцами, годами, – так оно и оказалось, –

говорит о своем знакомстве с Шайтановым в те же годы Карен Хьюитт, лектор из Оксфорда, основатель ежегодного международного пермского семинара «Современная британская литература в российских вузах». К тем же перестроечным временам относится и знакомство Игоря Шайтанова со славистом из Сассекса Робинот Милнер-Галландом и профессором из Оксфорда Джерри Смитом. Милнер-Галланд, любезно согласившийся написать эссе для нашей книги, вспоминает маленький занятный эпизод, очень точно характеризующий московского коллегу:

...Игорь обыкновенно шел к центру города тихой пригородной улочкой, но мысли его были далеки от повседневности. Это обнаружилось в последний день визита, когда сын обратил внимание Игоря на необычность одного дома: его украшала скульптура большой акулы, будто пробившей крышу, над которой возвышался ее хвост. Игорь каждый день проходил мимо, но знаменитой скульптуры не замечал (из эссе Р. Милнер-Галланда «Whatever is, is right»).

Речь идет о Хедингтоне, отдаленном районе Оксфорда: акула, ныряющая в крышу малоэтажного дома, настолько крупная по размеру, что ее видно издалека, даже из окна автомобиля или автобуса. Говоря по справедливости, Хедингтон привлекал литературоведа совсем другим – здесь в 1994 году состоялась беседа Игоря Шайтанова с сэром Исайей Берлином, опубликованная в журнале «Вопросы литературы». В это время произведения Берлина только начинали входить в моду в России, а история ночной беседы с Анной Ахматовой в Ленинграде 1945 года подогревала интерес общественности к его фигуре. Разумеется, совсем не пикантные подробности интересовали русского интервьюера: концептуальный разговор касался школы истории идей и теории либерализма, разработанной Берлином, понятия свободы и ее понимании в современном мире и в историческом прошлом. Другое интервью, публикуемое *pendant* к беседе с Исайей Берлином, – было взято Игорем Шайтановым у упомянутого выше слависта Джеральда Смита, специалиста по русской поэзии, в начале 1990-х работавшего над составлением антологии по современной русской поэзии. Речь шла и о феномене Бродского – тогда его поэзия на русском и английском языках вызывала большие споры.

В 1990-е годы занятия английской литературой становятся приоритетными для Шайтанова-литературоведа. Растет интерес к комментированным изданиям английских классиков – и один за другим выходят книги с комментарием и предисловием Игоря Шайтанова – «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1986), «Англия в памфлете» (1987), «Лирика» Байрона (1988), «Поэмы» А. Поупа (1988), «Стихотворения» Дж. Китса (1989) и др. Три поэтических предисловия по нашей просьбе были заново подготовлены для книги – эссе о Поупе, Китсе и Байроне.

Удивительно, что в смутном постперестроечном времени издательству «Ин-тербрук» удается выпустить шекспировский восьмитомник, к которому Игорь Шайтанов написал предисловие («О Шекспире, драматурге и поэте»). Эта статья восходит в своих основных постулатах к ранней работе, написанной для аспирантского экзамена в МПГУ, – «Историзм трагического конфликта в хрониках Шекспира».

Шекспир «Интербрука» не просто «пришелся ко двору», но разлетелся невероятными тиражами (1994, 1997), став своего рода примером перестроечного постмодернизма: «Открываешь, скажем, комедию “Сон в летнюю ночь”, читаешь все по тексту, но вдруг: “Входит Лаэрт”. Это страничка из “Гамлета” залетела», – вспоминает сам шекспировед на страницах «Иностранки» (2014, № 5). В те же годы на полках книжных магазинов появятся учебники Игоря Шайтанова по эпохе Возрождения (первое изд. – 1997) и «Шекспир для ученика и учителя» (1997) – книги, рассчитанные не только на узкого специалиста, но и на широкую аудиторию, так как внутренняя установка автора – постоянный диалог с читателем, популяризация (в хорошем смысле этого слова) английского Возрождения. В 2000-е – в коллективных шекспировских изданиях, в работе с магистрами и аспирантами, на ежегодном шекспировском семинаре в РГГУ – ученым будет предпринята попытка создать новый шекспировский круг – общими усилиями под общей редакцией И. О. Шайтанова выйдут в свет «Шекспировская энциклопедия» (2015), шекспировский шеститомник «Великие трагедии в русских переводах» (2014–2016), «Римские трагедии» (2017). Выйдет и «Шекспир» Шайтанова в ЖЗЛ (2013).

О шекспировских трудах Игоря Олеговича Шайтанова, как и о его работах в области компаративистики, в нашей книге сказано не так уж много. Пусть об этом расскажут читателю его книги – решила редакция ВЛ. И тут же внесла уточнение – пусть под занавес наших вечеров в Большом Гнездиновском прозвучит эссе Казбека Султанова, в котором он с точностью компаративиста восстанавливает распавшуюся связь советских и постсоветских десятилетий, вправляет «вывихнутое время», ведя свой рассказ от литературных Дубултов, где он впервые встретился с Игорем Шайтановым, через отшумевшие 1980 – 1990-е – к вечным Шекспиру и Пушкину, подтверждая простую мысль: написанные легко и изящно, эссе и статьи Игоря Шайтанова переносят читателя в другие века и тем самым, раздвинув границы сознания, позволяют ощутить советское время с его амбивалентностью лишь частью большого литературного процесса, помогают нам стать современниками разных эпох, оказавшись поверх запретов.

Елена Луценко

Вечер первый. «Деревянная столица»

«У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой...»

***Беседу с Игорем Шайтановым вели
Елена Луценко и Сергей Чередниченко***

– Игорь Олегович, вы часто бываете в Вологде, городе вашего детства, который так любите. Какой была послевоенная Вологда в 1950-е? Это было, вероятно, непростое время для вашей семьи?

– Мое детство в бытовом смысле было благополучным, но следы разгрома семьи в 1937 году, конечно, чувствовались. Деда Василия Андреевича арестовали, он 18 лет провел в лагерях и в ссылке. Бабушку арестовали на два года, квартиру конфисковали, все забрали, потом бабушка добивалась хоть какого-то жилья и жила – это уже на моей памяти – до конца 1950-х годов в маленькой жуткой комнатке на первом этаже деревянного дома. Я прекрасно помню, как и меня арестовывают в день смерти Сталина. Нянька, деревенская девчонка, вывела меня на улицу гулять и сунула мне в руку, малышу шестилетнему, красный флажок. Мы идем с ней по улице Ленина, и к нам подходят военные дяди с красно-черными повязками и ей что-то говорят. Она в ужасе хватается меня и несется домой.

– А с бытовой точки зрения каким было ваше детство?

– Вы знаете, это было время, которое для меня, по детским воспоминаниям, в быту не было тяжелым. Торт купить было нельзя, но все пекли торты и пироги. Мяса не было, но у нас соседка была преподавательница института – Лихачева Лия Яковлевна, – а ее муж был директором совхоза. Я прекрасно помню, как зимой на санях, бывало, привозят битую птицу и куски мяса. Это все хранилось на окнах и за окнами, но в основном между рамами хранились банки икры. Единственное, что продавалось, – икра и крабы. Помню эти синие фанерные ларьки. Зимой мороженое в них не продавали, а ставили банки с чадкой.

– Тогда ведь были огромные очереди за продуктами...

– С заднего двора дома, где я жил (общежитие на берегу речки Золотухи), давали (именно «давали»! – советское словечко, в котором и иллюзия общедоступности, и – в действительности – невозможность купить) временами муку, сахар и другие продукты. Помню эти темно-кирпичные стены из грубого фабричного кирпича, черную дорогу по колено в грязи. Люди записывались за продуктами... Нянька тащила меня, четырехлетнего, мне писали на ручке какой-то там сотый номер, и мы стояли в очереди. Это было, но нечасто. Все-таки я не провел детство в очередях. Я жил вполне благополучно. Скажем, рядом был маленький деревянный домик, в котором жил мальчик меня на год старше (потом он станет чиновным начальником). Я изумлялся, попадая к ним в комнатку: там ничего не было. Когда он приходил к нам, то мама его тут же кормила, усаживала обедать.

– А у вас в юности в Вологде были любимые места, где вы собирались с друзьями, чтобы посидеть, выпить чашку кофе?

– Какая чашка кофе, вы смеетесь? Когда я учился в старших классах, начали открываться маленькие пельменные и кафе (их было два-три в городе), которые напоминали что-то ресторанное (хотя несколько ресторанов, конечно, тоже было). Еда там была ниже среднего, но иногда мы с приятелями туда заходили. Было такое кафе, «Нептун», по-моему, оно называлось, где можно было что-то выпить, чем-то закусить. За небольшие деньги, которые у нас водились, мы это делали. А первое кафе, где подавали кофе, сваренный из кофе, а не сотворенный в оцинкованных ведрах из чего-то условно называемого кофе, и молочный коктейль, который

был совершенно немислимым изобретением, открылось на улице Мира. Там продавали блины, молочный коктейль, кофе, сухие пирожные... всегда стояла очередь. Это случилось году в 1964-м.

– *А в какой школе вы учились?*

– Она помещалась в здании бывшего реального училища, построенного в начале второй половины XIX века на фундаменте средневековых складов Соловецкого монастыря. Вы знаете площадь в Вологде, где теперь Воскресенский сквер? В годы моего детства и юности он назывался «садик с красными дорожками», потому что они были посыпаны битым кирпичом. На площади когда-то были мужская гимназия, духовная семинария – там учились все мои предки... По традиции, как во всех городах, они терпеть не могли друг друга и на этой грязной площади сходились для мордобоя... (*Смеется.*)

– *В 1950-е годы ваша школа тоже называлась гимназией?*

– Нет, школа № 1 города Вологды. Она всегда считалась привилегированной. В ней училась моя мама, в ней работала моя бабушка Манефа Сергеевна и так далее. Я с этой школой был связан давно, но учился в ней только с пятого класса. Дело в том, что, когда мне надо было идти в первый класс, родители разузнали по всему городу, где лучшая учительница начальной школы. И они нашли Клавдию Павловну Попову, которая в это время должна была уходить на пенсию (ей исполнилось 55 лет) в 1954 году, значит, ей было 18 в 1917-м.

– *Ровесница века...*

– Да, ровесница века, она была типичной дореволюционной провинциальной интеллигенткой, всю жизнь прожила с сестрой в деревянном доме. Всегда в накрахмаленной блузке, строгой юбке. Гладко причесанные седые волосы, выправка, как у гвардейского офицера. Вежливая, тихая, по-своему красивая, действительно замечательная учительница. Она была учительницей начальной школы номер 18 по улице Чернышевского, где я и начал учиться.

– *Это деревянный особнячок?*

– Да, деревянный одноэтажный особняк, дом графов Зубовых, и в нем я учился всю начальную школу. Я учился в исторических зданиях. Увы, это здание лет 15 назад снесли.

– *Были ли в школе учителя, которые вам особенно памятлиы?*

– Учитель английского языка был замечательный – Зельман Шмулевич Щерцовский. О нем я написал маленькое эссе к его 75-летию в газете «Красный Север». Он всегда входил в класс резким шагом. Просторные комнаты реального училища, высота потолков, как у нас в «Вопросах литературы», за рядами парт всегда оставалось приблизительно еще такое же – без парт... Учительские столы были фанерными, на них чернильница-непроливайка... Он подходит к столу, все орут, и так спокойно бьет кулаком по столу: «РазгильдАи!» Чернильница подлетает на пару метров, все затихают. Он эмигрировал во время войны из Польши, поэтому по-английски и по-немецки, по-польски и на идише он говорил, может быть, и лучше, чем по-русски. По-русски он говорил с сильным акцентом.

– *А как Зельман Шмулевич оказался в СССР?*

– Тогда многие оказались, когда поляки бежали от немцев, потому что те расстреливали евреев. И польские евреи в довольно большом количестве бежали в Россию.

– *Это с ним вы выучили английский язык?*

– Отчасти и с ним, но первой меня учила Татьяна Ивановна Блинова (позже – Соколова). Когда я был в третьем классе, меня отвела к ней мама. Она жила в огромном деревянном доме за церковью Иоанна Предтечи (в которой, разумеется, были какие-то подсобные помещения садика). Ей было тогда лет 26. Крошечная деревянная комнатка, учебника найти не могли, нашли какой-то годов 1940-х. Английский язык тогда не учили, учили немецкий и французский. И первые два слова, которые я выучил, почему-то были «демонстрация» и «гнездо». А потом меня начал учить Вениамин Маркович Каплан. Очень пожилой господин, создатель вологодского Инфака сразу после войны. Английский он выучил в Англии, где жил с 1906-го

по 1914 год. Его выслали из Англии, когда началась война. И как он сам говорил, англичане в нем признавали ирландца, говорили, что у него легкий ирландский акцент.

– *Необычный человек для Вологды того времени...*

– Для Вологды конца 1950-х годов найти такого учителя было абсолютно невыносимо. Он был старый интеллигент. В его крошечной комнате – они с женой жили в коммуналке – стоял пюпитр, и на нем лежал Вебстеровский словарь, гигантский. Это все в то время воспринималось не как сейчас: было уникально, как у Робинзона Крузо, – каждая вещь в единственном числе и неповторима. Мы с ним начали читать адаптированную книжечку Майн Рида, но на второе или третье занятие он мне дал наизусть учить монолог Марка Антония «Friends, Romans, countrymen, lend me your ears!». С этого началось мое знакомство с Шекспиром. Но это уже был класс шестой.

– *В Вологде тогда было много иностранцев?*

– Были поляки, например Юрий Юрьевич Пшечурко, самый главный портной Вологды. Он шил на Каменном мосту, где у него была мастерская. Купить ничего было нельзя. Он шил отцу, шил мне – от пижамы до выходного костюма. Я помню, когда я был школьником, мне решили сшить зимнее пальто и материал на пальто купили, а воротник купить нельзя – нет. Приходим к Юрию Юрьевичу – а он говорил гораздо хуже по-русски, чем Зельман Шмулевич, – делает знак: найду. Поднимается куда-то на второй этаж, несет какую-то цигейку, гладит ее и приговаривает с удовольствием: «Аблизьяна!» Высшая похвала этой шкурке. (*Смеется.*)

– *Очень колоритный господин! А ваши родители знали иностранные языки?*

– Мать отца – полька, она со своей матерью говорила по-польски, когда хотела, чтобы дети не понимали, поэтому отец польский понимал и читал по-польски, но не говорил. Он свободно читал по-французски, поскольку занимался французской литературой, но говорить также не мог. Обычная ситуация с советскими специалистами по зарубежной литературе. Во время войны, эвакуированный с семьей после их буквально бегства из горящего Смоленска в Пензенскую область, он в сельской школе преподавал немецкий язык, но я никогда не слышал от него ни одной немецкой фразы или чтобы он читал на этом языке. А вот среди трех книг, вынесенных из Смоленска, был томик французского Беранже. Еще одна – Блок в малой серии «Библиотеки поэта». Я их храню. Отец не был на фронте, так как у него открылся тяжелый туберкулез.

– *Ваша бабушка жила в Вологде?*

– Бабушка по отцу – Мария Оттоновна? Сначала в Архангельске, потом в Петербурге, семья Межеевских была в XIX веке в основном петербургской. Ее старшая сестра Елена, студентка Бестужевских женских курсов, приняла участие в каких-то студенческих волнениях в 1906 году и была выслана в город Никольск Вологодской губернии. А бабушка, окончив те же самые курсы, последовала за ней. По семейной биографии я интеллигент с середины XIX века: мой прадед Гриффин окончил Московский университет в 1855 году, около этого же времени мой прапрадед Шайтанов, архимандрит, стал членом Императорского географического общества – собирал и посылал в столицу вологодский фольклор.

– *А ваш дед по линии отца тоже жил в Никольске?*

– Мой дед, Владимир Ильич Шайтанов, окончив Казанский сельскохозяйственный институт, приехал в Никольск, получив распределение, и был главным ветеринарным врачом, там и женился на бабушке Гриффин. Но в 1914 году (мой отец родился в августе 1914-го) его, естественно, призвали в армию, и когда в начале 1918 года он вернулся из армии штабс-капитаном медицинской службы, то утопил в пруду позади родительского дома в Вологде свое офицерское оружие. Тогда Кедров, отец академика Кедрова, проводил на вологодчине повальные расстрелы царских офицеров. И дедушка срочно уехал из Вологды в Никольск, где – у меня сохранился этот документ – ему выдали удостоверение главного ветеринарного врача Никольского уезда в 1918 году.

– *Игорь Олегович, а почему после окончания Московского университета вы приехали жить в Вологду? Вы тогда хотели остаться в Вологде насовсем?*

– Наверное, по нескольким причинам. Я очень скучал по Вологде, но главное – в это время я не чувствовал себя готовым начать преподавать в столичном вузе. Хотелось попробовать себя и лучше подготовиться.

– *В 1970-е годы помимо преподавания в Вологодском пединституте вы писали рецензии на театральные спектакли вместе с вашим близким другом, музыковедом Морисом Бонфельдом. Как это получилось?*

– С Морисом мы познакомились в тот первый год, когда я вернулся из университета. А он незадолго до этого приехал из Ленинградской консерватории, успев поработать в Великом Новгороде в музыкальном училище два-три года. Он был меня старше лет на восемь. Мы писали вместе только на один жанр – на оперетту. Поскольку летом приезжали гастрольные театры, чтобы не покупать билет, я шел в газету и говорил, что хочу писать рецензии, так как я уже писал для них (первые рецензии я написал еще в университете). Я получал контрамарки на все спектакли, и мы с Морисом встречались пораньше. Во-первых, театр был единственным местом, где в буфете продавали сухое вино. Мы шли, пили грузинское вино, смотрели спектакль. После шли к нему или ко мне и иногда до утра играли в эту литературную игру: напиши рецензию. Откровенно ерничали: оперетта в июле, оперетта в августе и так далее. У нас был общий псевдоним – Бонтанов.

– *А помимо Бонфельда каким был дружеский круг вашего общения в 1970-е годы в Вологде?*

– После университета я по-настоящему, и уже не семейно, а самостоятельно, вошел в вологодскую культурную среду. Там все большую роль играли мои сверстники, друзья моего детства – музыканты: Лев Трайнин – скрипач, теперь (и уже более 20 лет) директор Вологодского музыкального колледжа, Виктор Кочнев – пианист, теперь руководитель и дирижер Вологодского духового оркестра. Наша дружба продолжается, перевалив за полвека. А Морис Бонфельд был для меня, да и для Вологды тогда, новым персонажем. Через него возник еще один круг моего очень близкого общения – врач-психолог Григорий Гиндин, реставратор икон Валерий Митрофанов, Клим Файнбер... Увы, их никого нет в живых. Клим умер несколько недель назад в Бостоне, куда он в 1990-е переехал с семьей. Он был настоящей звездой на вологодском небосклоне. По складу личности он должен был верховодить, по своей начитанности и острому уму – мог это делать. Проработавший всю жизнь журналистом (в последние годы – заместителем главного редактора «Красного Севера»), он был настоящим филологом – с интересом, с пониманием. Его кабинет являл место встреч, разговоров. Литература и, может быть, более всего – поэзия были его постоянным чтением и предметом размышления. Когда сходились вместе, он добавлял в любой разговор соль и перец, мы с ним любили пикироваться, разница в возрасте (он был на полтора десятка лет старше, настоящий шестидесятник, при начале дружбы мне – двадцать пять, ему – под сорок) быстро стерлась.

– *Вологда в большей мере город литературный, чем театральный. Кто из советских писателей, живших в Вологде, был вам интересен?*

– Личностью был Александр Яшин. Его я видел пару раз в жизни, он первый человек, с которым я играл в карты на интерес. Когда его в очередной раз начинали травить в Москве, он сбегал в Вологду. А там года с 1960-го первым секретарем обкома – хозяином области – больше двадцати лет был Анатолий Дрыгин. Человек властный, тяжелый, но уважавший культуру, прежде всего – литературу и театр. На все премьеры в Вологде ходил. А раз первый в зале, то и весь партийно-хозяйственный бомонд сидит в первых рядах.

Под его покровительством и расцвела так называемая вологодская школа литературы. Яшин же стал ее творческим авторитетом и наставником. Он был близким знакомым Виктора Гуры, профессора литературы, шолоховеда, автора книги «Как написан “Тихий Дон”», заходил

к нему. Гура пригласил его как-то обедать – кажется, как раз после скандала с «Вологодской свадьбой». Гуры были ближайшими друзьями нашей семьи, и мы были приглашены, отчасти и потому, что хотели как-то развлечь Яшина, бывшего в подавленном состоянии. Яшин вообще не производил впечатление легкого человека. Обед кончился, разговор не особенно клеился. Хотя я не помню, чтобы кто-то раньше играл в карты, тут составила девятка. За отсутствием партнеров и меня обучили, а я возьми и всех обыграй. Яшин играл азартно, завелся.

– *А что за скандалы были с Яшиным?*

– Хотя он и был вполне признанным и одобренным властью поэтом, но постоянно переступал черту дозволенного. Первый раз – в знаменитом альманахе «Литературная Москва». Он написал очерк «Рычаги». Была даже пародия:

Прошли былые времена, Была Алена Фомина.
Встал поэт с другой ноги
И нажал на рычаги.

«Алена Фомина» – его чисто сталинская, как «Кубанские казаки», поэма о деревне. А «Рычаги» – про бюрократический способ управления деревней.

Произошел большой скандал. Но самый большой скандал случился в 1963 году с «Вологодской свадьбой». Яшина в очередной раз обвиняли в очернении, искажении, причем его родной вологодской деревни.

– *А с другими вологодскими писателями вы были знакомы? С Николаем Рубцовым, например?*

– Я приехал в Вологду после университета, а Рубцов зимой этого года погиб. Рубцова я один только раз видел мельком перед его выступлением в областной библиотеке.

– *Долгие годы вы вели в Вологде вместе с Натальей Серовой знаменитый проект «Открытая трибуна». Как он возник?*

– Возник он довольно просто. Я приехал в Вологду году в 1993-м. Наташа Серова сказала, что она очень хочет меня познакомить с тогдашним начальником департамента культуры, поэтом Владимиром Кудрявцевым. У них возникла идея: в новой действительности необходимо сохранить присущую Вологде культурную среду. С этой целью зимой 1994-го они провели в Вологде семинар журналистов северо-запада, пишущих о культуре. В качестве выступающих со стороны пригласили меня и знаменитого польского критика, деятеля культуры (он был министром, кажется, телевидения в правительстве Бальцеровича) Анджея Дравича. На этом семинаре у меня состоялся разговор с тогдашним вице-губернатором, курирующим культуру, Евгением Анатольевичем Поромоновым. Так начался проект, получивший название «Открытая трибуна». Мое первое выступление на следующий год было с лекциями о Шекспире в Русском Доме (я потом их не раз продолжал).

Увы, вскоре Поромонов погиб в автокатастрофе. Но с пришедшим на его место Иваном Анатольевичем Поздняковым у меня сложились еще более тесные отношения – мы стали очень близкими друзьями. При нем и благодаря ему очень многое происходило в вологодской культуре. Он умеет не только руководить, но объединять, сближать, заводить людей. И именно благодаря ему наш проект раскрутился. Кто только не приезжал! По моей части – литераторы, по линии Натальи Серовой, она профессиональный кинокритик, киношники, и не только: Чухонцев и Кушнер, Рейн и журнал «Арион», Татьяна Бек и Вера Павлова... Вадим Абдрашитов, Антонино Гуэрра, Рене Герра...

– *Насколько этот проект был результативен?*

– Я не уверен, что проект решил задачу, которая ставилась, – воссоздать культурную среду, но во всяком случае он позволил что-то сохранить, дал возможность тем людям, которые хотели слышать и видеть, получить желаемое. Народ приходил. Сейчас снова просят продол-

жения. Наталья Серова стала воссоздавать проект в Кириллове, потому что Кирилло-Белозерский музей – федерального управления, это другие деньги, и его директор проектом заинтересовался.

– *Обычно из всех небольших городов происходит вымывание наиболее талантливых людей. Как с этим в Вологде?*

– Люди, уезжающие в юности из провинциальных городов в Москву и в Питер, как правило, не возвращаются. Пока их родители живы, они еще наезжают, но абсолютно меняется среда общения, там не остается друзей.

– *Можно ли сказать, что вы сами живете на два города?*

– У меня давняя, двухсотлетняя связь с Вологдой, я ее крепко ощущаю. Ну, и я по своему духу и характеру консервативен, не люблю, когда рвутся связи, личные или культурные. Я ведь и возвращаюсь не в чужой, а в свой дом – в родительскую квартиру, к прежнему кругу друзей. Хотя я уже полвека в Москве, многое из того, что мне особенно дорого, – в Вологде.

2016

Игорь Шайтанов

Там, где звучат голоса истории

Название для этого эссе подсказал театральный фестиваль, который раз в два года проходит в Вологде, – «Голоса истории». Большинство спектаклей проходит на открытом пространстве – в стенах Вологодского кремля. Первоначально это был фестиваль исторических пьес, потом тематическое ограничение было снято, но дух истории витает по-прежнему. Он рожден местом действия.

В Москве боятся террористов, в Вологде – барабашек. Вспоминаю первые годы перестройки. Приезжаю в родной город, читаю газеты. Подвалы и целые полосы повествуют о злых духах. Перепечатывают отовсюду и предлагают свежие местные новости. Перед ними политические потрясения, инфляция – все меркнет...

На человека со стороны это производило сильное впечатление. В лондонской «Гардиан» в ноябре 1992 года появилась маленькая заметка «От вампиров холодеет кровь»:

Жителям Вологды, города на севере России, есть о чем беспокоиться кроме инфляции и безработицы. Опрос, проведенный местной газетой, показал, что больше всего они боятся вампиров. На втором месте среди того, что страшит вологжан, стоят ведьмы и черная магия. За ними следуют барабашки и всякого рода мелкая нечисть. Многие боятся Апокалипсиса. Два человека сказали, что боятся, как бы Вероника Кастро, исполнительница главной роли в мексиканском «мыльнике» «Богатые тоже плачут», не погибла в автокатастрофе. Четыре человека сказали, что ничего не боятся.

Мне эту заметку показали в Оксфорде. И сказали, что мой город, видимо, мало изменился с тех пор, как полтора века назад туда вместе с родителями был сослан шестилетний Джозеф Конрад. Настоящее имя английского писателя – Конрад Коженевский. Колония польских ссыльных в Вологде всегда была многочисленной. На первых страницах английских биографий Конрада говорится, что более года он провел в глуши, в тайге на далеком севере России. Чуть ли не вблизи полюса.

Отец писателя через две недели после приезда в Вологду, в июне 1862 года, писал: «Вологда – это огромное болото, которое тянется на три версты <...> Здесь всего лишь два времени года: белая зима и зеленая зима. Белая длится девять с половиной месяцев, зеленая – два с половиной. Сейчас только что началась зеленая, и дождь льет уже двадцать один день. И так будет до конца...»

Что же касается англичан, то они могли бы и лучше представлять местоположение Вологды: через нее лежал путь из Лондона в Москву, которым прошел в 1553–1554 годах Ричард Ченслор и многие англичане после него. Так продолжалось до тех пор, пока Петр не основал новую столицу.

Среди англичан, побывавших в Вологде в середине XVII века, был – вероятно, первая посетившая город литературная знаменитость – поэт-метафизик, друг великого Милтона, Эндрю Марвел.

Плыли морем до Архангельска. Потом зимой на санях до Вологды и дальше на Ярославль. Отмечали, что в городе много церквей, что «тамошние товары – сало, воск и лен».

Из Вологды был родом и первый посланник государства Московского к английскому двору, от Ивана Грозного к Елизавете Великой – Осип Непея.

Здесь кончается *первый сюжет* моего очерка – английский.

Второй сюжет: о вологодских древностях.

Летом, кажется, 1976 года я пошел знакомиться к Борису Сергеевичу Непеину. Семья священников и краеведов, потомки Непеи.

Имя Непеина я знал хорошо, иногда встречал его в газете «Красный Север». А тут понадобилось о чем-то спросить. Меня интересовал Леонид Мартынов. Не встречался ли Непеин с ним в середине 1930-х годов? И вообще, что происходило тогда в литературной Вологде?

Если вдоль реки пройти пару сотен метров от Софийского собора и повернуть налево, там будет церковь Варлаама Хутынского, причудливая своим итальянско-барочным акцентом. Самый тихий и самый вологодский уголок города.

Маленький деревянный дом. Палисад. Огородик. Старая женщина разгибает спину от прополки. На мой вопрос о Непеине спрашивает, кто я. Называюсь. Она откликается узнаванием, но неожиданным: «У нас в гимназии Шайтанова преподавала географию». Говорю, что, наверное, родственница, но я о ней не знаю. Семья была разветвленной. «Епархиальные ведомости», державшие горожан в курсе успехов и неудач в учебе семинаристов и епархиалок, буквально пестрели этой неправославной фамилией.

Прохожу в дом. Скромно, чисто. Невысокий сухоощавый человек встречает меня. Он стар и болен, почти не выходит. Показывает поэтические сборники и альманахи. То, что осталось в Вологде от молодого кипения 1920-х годов.

Тогда здесь бывал рапповский критик А. Селивановский. Все группы искали и выдвигали «молодняк». Селивановский нашел Непеина. Пригласил на совещание РАППа. В Москве приехавшим поставили койки рядами в номерах «Националя». Непеин познакомился с соседом. Тот достал из-под матраса только что вышедшую в Смоленске книжечку своих стихов – «Провода в соломе». Михаил Исаковский.

Я больше не встречался с Непеиным. Он вскоре умер. А я сейчас сближаю ту свою встречу с другой, происшедшей на сто тридцать лет раньше.

В 1841 году Вологду посетил Михаил Погодин. Известный литератор, историк, профессор Московского университета. В Вологде он искал и находил рукописи, причем в местах самых неожиданных, сваленными в груды: «...во всяком монастыре есть так называемая кладовая или амбар, куда сваливаются старые вещи. Там еще можно найти многие древности...»

Встречался Погодин и с людьми, прямо скажем, историческими:

Был у меня потомок и последний представитель рода Пятыхевых, «остаток горестный Приамова семейства».

Это уже дряхлый старик, которому идет на седьмой десяток! Грустно смотреть на него, оканчивающего собою семисотлетний род! Ему тяжело говорить по причине одышки. «Нет ли каких преданий в вашем роде?» – «Нет, никаких». – «По крайней мере ведется память, что ваш род происходит от того Пятыхева, который спорил с св. Герасимом?» – «Бог знает. Это было уж очень давно!»²

Согласно летописному свидетельству, Герасим основал Вологду в том же году, когда была основана Москва. Впрочем, место не было совсем пусто. Пришедший с Киевских гор монах нашел на полюбившемся ему берегу селенье и малый торжок. Так что место под церковь он откупил и имел спор о том с купцом Пятыхевым, которому за его неуступчивость предсказал, что его род ни богат, ни беден не будет. Для купца это дурное предсказание.

Погодин рассказал о своей встрече с последним потомком купеческого рода, сожалея о забвении и вымирании. Другой литератор того же времени – Степан Шевырев, также посетивший Вологду, увидел в долгожительстве семейства Пятыхевых иной смысл: «Вот одно из многих доказательств тому, как сохраняются у нас роды».

² Вологда в воспоминаниях и путевых записках. Конец XVIII – начало XX века / Сост. М. Г. Илюшина. Вологда: Вологодская областная универсальная библиотека им. И. В. Бабушкина, 1997. С. 59–60.

И то, и другое мнение верно. История здесь хранится безымянно, не в славе и на виду, а ушедшая на глубину, в почву, притаившаяся за хрупкими резными палисадами.

Сюжет третий: литературный маршрут.

Вернемся от Варлаама Хутынского обратно к реке Вологде. Налево вверх по течению виднеется стела, установленная в честь восьмисотлетия на том самом месте, где некогда св. Герасим спорил с торговым человеком Пятышевым.

Повернем направо к Софийскому собору. На этих нескольких сотнях метров вдоль реки – от стелы до собора – начиналась история города. Здесь она дышит. Собор – сердце Вологды. Он прекрасен. К нему глаз не привыкает. Мемуарист прошлого (уже позапрошлого – XIX) века выразил это впечатление, сочетающее легкость с величием: «...грандиозный Софийский собор, большие главы которого, видимо, не подавляют его, а составляют величественное украшение» (А. Попов).

Собор строили по приказу Ивана Грозного, якобы замыслившего перенести в Вологду столицу. Отсюда столичный размах и стиль.

Но собор и погубил этот план (если он когда-либо существовал). В народной песне по этому поводу сказано: «Упадала плинфа красная... / В мудру голову, во царскую...» Обломок кирпича свалился со свода под ноги царю и спугнул его прихотливую мысль. Вологда не стала столицей, но память об этой возможности ревниво затаила.

В Вологде любят вспомнить, что пусть на короткий момент, но в 1918 году Вологда становилась «дипломатической столицей» России. Сюда переехали послы основных держав, и здесь зрел антибольшевистский их заговор.

Много позже, уже во времена нам совсем близкие, можно сказать, наши, эта память о столичности выплеснется в литературных мечтаниях.

А литература тоже здесь – около собора. Два самых громких имени: Константин Батюшков и Варлам Шаламов.

Памятник Батюшкову стоит на самом берегу реки. Памятник поэту-воину, только что спешившемуся, держащему коня под уздцы. Конь тоже здесь. Только без стремян. Их украли.

Если поворотиться к реке с памятником задом, то передом как раз окажешься повернут на «дом Батюшкова». Он виднеется чуть в отдалении, левее кремлевской стены. Здесь у своего родственника Гревенса поэт прожил последние двадцать два года до самой смерти от тифа летом 1855-го.

До своего последнего и печального возвращения Батюшков в Вологде бывал нечасто, наездами. Отношения с отцом, вновь женившимся, складывались тяжело. Свой вологодский круг Батюшков, судя по всему, не слишком жаловал: «Хочешь ли новостей? – писал он в январе 1811 года из Вологды Н. Гнедичу. – Межаков женится на племяннице Брянчанинова!.. Впрочем, здесь нет людей, и я умираю от скуки и говорю тихонько себе: не приведи Бог честному человеку жить в провинции...»

Межаков – это Павел Межаков, наследник одного из лучших вологодских поместий, поэт. Брянчаниновы – едва ли не самое известное вологодское семейство, разбросанное по нескольким именам. Из него происходил святитель Игнатий Брянчанинов, деятель церкви, епископ, недавно канонизированный.

Может быть, в этом батюшковском письме – признаки ипохондрии, обернувшейся душевной болезнью, из-за которой Батюшков в последние годы вовсе избегал людей?

Сохранилось несколько его поздних изображений. Вот рисунок середины прошлого века, сделанный в доме Гревенса. Спина к зрителю, повернувшись к открытому окну, стоит невысокий человек в долгополом сюртуке. Седые волосы коротко стрижены. Все неподвижно, скованно, как всегда на любительских рисунках. Как будто время остановилось, замерло в видимых из окна куполах Софии.

Мы не видим глаз Батюшкова. Его взгляд устремлен на тех, кто смотрит с улицы: от стен Кремля с площади, от памятника поэту...

Справа от памятника, буквально у стены собора – шаламовский домик. Отец писателя был соборным священником. Здесь прошло детство и отрочество Шаламова. Варламом он был назван в честь святого Варлаама Хутынского, того самого, от чьего храма мы начали свою прогулку. Веру в Бога, как признавался, потерял в шесть лет.

Шаламов уехал из Вологды, чтобы в нее не возвращаться. Вспомнил о ней в книге не-любви – «Четвертая Вологда». В ней даже собор, рядом с которым прошло детство, – «угрюмый храм, хоть и красивый – нет в нем душевной теплоты».

Духовно близкой Шаламов ощущал лишь третью Вологду – пришлую, ссыльную. Ту самую, которая подарила городу прозвание – «северные Афины».

Сюжет четвертый: о культурной среде.

Есть несколько фраз и мнений, которые в Вологде любят. О Вологодчине в целом – *Северная Фиваида*.

Так когда-то сказал известный церковный писатель и небольшой поэт (впрочем, знакомец Пушкина и Тютчева) Александр Муравьев. Он имел в виду, что, как некогда в фиванскую пустыню, так начиная с XIV века на Русский Север устремились те, кто устал от мира, искал отшельничества. Их направлял Сергей Радонежский. Там встали знаменитые монастыри – Кирилло-Белозерский и Ферапонтов. Там трудился великий Дионисий. Там свершило свой подвиг большинство святых, «в земле русской просиявших».

Вот почему в Вологде еще одна любимая фраза приобретает сокровенный смысл: «*Россия спасется провинцией*». Здесь так не просто думают, здесь в это верят.

Северные Афины – это тоже нравится, хотя остается неприятный осадок, так как сказано это было не про то, что принадлежит Вологде, а про то, что в нее принесли.

В ноябре 1901 года Валерий Брюсов записал в дневнике: «...виделся с Ремизовым, моим поклонником из Вологды... Говорил интересно о Н. Бердяеве, Булгакове и др. своего Вологодского кружка».

Тогда в вологодской ссылке побывали все: от Николая Бердяева до Сергея Булгакова, от Алексея Ремизова до Иосифа Сталина. Одни учились, проходили свои университеты. Другие учили и продолжали учиться. Одно слово – Афины, только северные.

Шаламов признает, что этот дух основательности, учительства, моральной идеи легко обрел здесь свою почву, поскольку она всегда была таковой. И от вологодской ссылки он переходит к театру:

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду – вроде Художественного театра... То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду – было самым документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и помощь и поддержку...

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь – Восточная и Западная – не имели такого особенного нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

Несчастливцев, конечно, стремится в Вологду. Только Счастливец его должен огорчить: «...там теперь и трупы нет». Но была. И издавна. Начало театра в Вологде ведут с конца XVIII века. Великих свершений он не имеет. Однако бывал любим и играл большую роль в городе.

Не будем больше углубляться в историю. Приблизимся к сегодняшнему дню и нынешнему состоянию культуры.

Многое было предсказано и начиналось в театре. В конце 1950-х годов едва ли не самым заметным в городе деятелем культуры был главный режиссер областной драмы Александр Васильевич Шубин. Выпускник студии Мейерхольда, до войны – режиссер ленинградского БДТ. Женат на Марине Владимировне Шуко, дочери известного архитектора и художника театра. По своему амплуа и темпераменту она бы показалась московскому зрителю родственной Пельтцер.

Не один десяток лет в Вологде ходили на Шуко. Потом на доме, где они жили (прямо напротив нового здания театра), была установлена мемориальная доска. Ее выдрали с куском кирпича. Потом восстановили. Варварство – преходяще. Культура – долговечнее.

К началу 1960-х Шубин заболел и отошел от дел. В это время Питер прислал в Вологду другого деятеля театра. На сей раз – мецената, первого секретаря обкома А. Дрыгина. Его эпоха продолжалась четверть века. При его поддержке сложилась «вологодская школа» в литературе.

Каждая театральная премьера при Дрыгине становилась городским событием. Поскольку на ней присутствовал «первый», то приходили и «второй», и «третий», и все остальные. У театра был официальный статус и поддержка.

Еще в большей мере и то и другое было у писателей. Вот простой, но верный для советского времени показатель: писателям давали квартиры. Тем, кого особенно уважали, давали квартиру, освобождаемую секретарем обкома. Такую получил свой, местный, – Василий Белов. На такую же был приглашен и приехал Виктор Астафьев.

Литература в последние десятилетия создала Вологде культурную репутацию, а потом сильно подпортила ее.

Начиналось все так. Во второй половине 1950-х два тогда молодых человека стали членами Союза писателей: поэт Сергей Викулов и литературовед Виктор Гура. Создание любой первичной организации предполагает третьего. Им оказался Виктор Гроссман.

Юрист по образованию, одно время работавший – по основной специальности – в Большом театре, в 1920-х годах он занялся пушкинистикой. С юридической точки зрения написал книгу о деле Сухово-Кобылина: убил тот или не убивал любовницу-французенку. Мнение Виктора Гроссмана разошлось с мнением его дальнего родственника, кажется троюродного брата, – Леонида. Завязалась дискуссия, и ходили стихи на известную мелодию: «Гроссман к Гроссману летит, / Гроссман Гроссману кричит: / “В чистом поле под ракитой / Труп французенки убитой...”»

В 1937-м Виктор Азриэлевич «улетел» в края не столь отдаленные. Выжил. После войны смог вернуться, но не в Москву, а в Вологду, где женился. Снова был посажен. И снова выжил, осев в Вологде окончательно.

Восстановленный в СП, он стал одним из отцов-основателей Вологодской писательской организации. К чему, впрочем, не стремился. Помню, уже девяностолетний, перемежая рассказы об одесской гимназии, где он учился с Корнеем Чуковским (Колей Корнейчуковым), и о том, как принес свой первый рассказ Короленко, Гроссман жаловался: «Открепили меня от Москвы, даже не спросив, хочу ли я этого. Сначала ко мне все ходили. А потом перестали».

До конца у Гроссмана собиралась интеллигентная молодежь, а вот в новой вологодской литературе старик не пришелся ко двору.

Литературную молодежь поддерживали вологжане, живущие в столицах: Константин Коницев, Сергей Орлов, Валерий Дементьев... Главной фигурой был и остался Александр Яшин.

Он наездами появлялся в Вологде и у себя на Бобришном угоре под Никольском. Приезжал надолго, когда нужно было отсидеться от очередного раската официального гнева: за «Рычаги», за «Вологодскую свадьбу»... Выглядел колючим, подавленным.

Яшин скоро умер. При нем направление «вологодской школы» было и осталось бы другим. По своему тону и по тону своей любви он был совсем не идиличен, но не был и озлоблен:

В голоде,
В холоде,
В городе Вологде
Жили мы весело —
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной,
Под жактовской лестницей.

Это о тех же домах за резными палисадами, о которых поет современный шлягер, увиденных взглядом не с улицы, а изнутри. Из-за дверей, обитых для тепла полуистлевшим ватином. Некогда частные владения, революцией уплотненные в коммуналки, с запахом из дощатого туалета и с общей кухни.

Десятилетиями догнивала деревянная Вологда. Теперь ее нет. Она почти догнила. Ее снесли. Частью отреставрировали, поставив крепкий новодел или на месте прежних срубов сложив кирпичные стены. Их в Вологде полагается обшивать тесом. Исторический город по-прежнему выглядит деревянным.

Он теперь гораздо чище и приветливее, чем лет сорок назад, когда в нем Василий Белов писал свою классическую раннюю прозу, а Николай Рубцов, как и следует поэту, уловил эмоциональный и речевой тон уходящей жизни. Поэтому Рубцов и любим в Вологде. И не только в Вологде. А если кто-то превознес его как современного Пушкина, а кто-то унизил до есенинского эпигона, то это их игры, ни к Рубцову, ни к поэзии отношения не имеющие.

Игр было много. И вокруг Вологды, и в самой Вологде, где согласились сыграть роль центра русской духовности. Припомнили свои столичные амбиции, не сбывшиеся в XVI столетии. По этому случаю во второй половине XX пустили фразу: «Вологда – столица России. Москва – столица Африки».

Это были еще советские времена дружбы народов.

Сюжет пятый и последний: точка зрения.

Выбирая в этом споре вокруг Вологды между *pro* и *contra* свою точку зрения, я снова предлагаю прогулку.

Если в том месте, которое считается центром, повернуться спиной к главному памятнику Ленина, то перед вами будет почти неразличимый, стиснутый домами Каменный мост через Золотуху. В течение всех десятилетий советской власти здесь висел старый указатель с ятем на конце. А где он теперь? В музее или в частном собрании?

Пройдите по мосту и поверните налево – на улицу Ленина (б. Кирилловская). По ней выйдете к скверу и небольшой площади. Когда-то она была огромной и грязной. На ней сходились драться семинаристы, гимназисты и реалисты. Все три учебных заведения располагались здесь же.

В здании реального училища теперь – школа № 1. Ее гулкие железные лестницы – от училища, фундамент – от средневековых складов Соловецкого монастыря, от Зосимовского подворья.

Мимо школы поднимитесь на мало примечательный железобетонный мостик. Еще тридцать лет назад он был деревянным. Его официальное название – Красный. Но обычно говорили

– Деревянный. Каждый апрель перед ним взрывали лед, чтобы напором ледохода не снесло его обветшавшие опорные быки.

Зимой и летом под ним полоскали белье. Зимой все выглядело именно так, как в 1933 году увидел Леонид Мартынов:

На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржанных краях!

(«Вологда»)

Поэт скоро убедится, что жизнь не так уж тут сладка. Но с этой точки город виделся и видится именно таким.

Здесь короткий прямой отрезок между двумя излучинами реки. От бывшего Деревянного моста перспектива открывается вверх по течению к старому Каменному мосту через Вологду. А за ним еще выше – мимо собора к памятнику восьмисотлетия.

Короткая дистанция в пространстве, пройденная Вологдой во времени за восемьсот пятьдесят лет.

Сквозь зелень летом и поверх заиндевеливших веток зимой золотится купол колокольни. Чуть ниже его видны серые мощные – величественные, но не подавляющие – купола Софии.

Это место любят фотографировать. Даже на любительских фотографиях виден воздух, и в нем, как сгустки времени, – купола.

2002

Игорь Шайтанов

Над страницами семейного альбома

Две фотографии – понятно ли, что на них один человек, одно лицо?

Первая сделана гораздо раньше, в начале века. Профессиональный фотопортрет, какие дарили близким людям. Из них составляли семейные альбомы. Ими развлекали гостей, вгоняя их в смертельную скуку. Любимый некогда сюжет для юмористов: вот мама, когда была маленькая, вот бабушка в подвенечном платье, вот дедушка, кажется, в Германии...

Потом дедушки и бабушки поехали в другие края, почему-то называемые «не столь отдаленными». Там фотопортретов не делали. В лучшем случае – профиль и анфас, два на четыре или шесть на восемь. Их снимали не для любящих родственников. Они оставались в деле.

Вот почему вторая фотография – своего рода редкость. Она – «оттуда». Слово, на котором голос сам собою понижается до шепота. «Оттуда» – понятие пространственное, но не связанное какой-то определенной географией: «от Москвы до самых до окраин...» Уж кому где суждено (совсем не Богом) быть заключенным, высланным, сосланным, перемещенным... Вторая фотография моего деда, Владимира Ильича Шайтанова, прислана из города Мариинска Кемеровской области, недалеко от границы с дружественной Монголией: «Моему дорогому сыну Олику от любящего папы. 22.1.1936».

А первая была сделана почти тридцатью годами ранее, летом 1908 года в Никольске, уездном городе Вологодской губернии, куда только что прибыл молодой ветеринар. По семейной традиции, установившейся по крайней мере с конца XVIII века, он окончил вначале Вологодскую духовную семинарию, потом, как полагалось в том случае, если выпускник не принимал священнического сана, испросил разрешения у губернатора и, получив его, поступил в Казанский ветеринарный институт.

В Никольске проработал до самой войны – империалистической. Ее прошел военным ветврачом сначала Гренадерской артбригады, а потом других соединений, аккуратно перечисленных в чудом уцелевшем «Трудовом списке». Демобилизовался в 1918-м, вернулся в родную Вологду, утопил офицерское оружие в пруду за собственным домом на Калашной (дом на улице, теперь носящей имя Гоголя, был снесен, когда участки начали скупать новые люди и застраивать особняками). Предусмотрительность не лишняя, если вспомнить о повальных в Вологде расстрелах бывших офицеров.

Следующие десять лет служил по специальности в Никольске, Великом Устюге, Вологде... Еще в 1960-х годах последние приходившие из пригорода молочницы вспоминали его разъезжающего на бричке по окрестным деревням.

В 1928 году дед с семьей переехал в Смоленск, где сначала работал заведующим ветлабораторией, а потом техническим (ибо тогда полагался еще и политический!) директором Научно-исследовательского ветинститута Западной области. На этом посту был арестован 29 декабря 1932 года и 8 мая следующего осужден решением тройки на десять лет. Судили в Москве; хотя громкого процесса не устраивали, дед проходил по чаяновскому делу – противников коллективизации и ее вредителей, то есть тех, на кого решили свалить последствия проишедшей в деревне трагедии.

Он умер своей (в чем родные, впрочем, не были вполне уверены) смертью в ноябре 1937 года, то есть менее чем через год после того, как была сделана вторая фотография. Фотография не для идиллического семейного альбома, как, впрочем, далеки от идиллии и те разговоры, которые ведутся над его страницами во многих семьях: да, этот дед умер *там*, а этот вернулся, отсидев восемнадцать лет; бабушка? – она сидела всего три года... И ведь семья не из профессиональных гангстеров или контрабандистов, а из врачей, учителей, землеустроителей. По старому – земская интеллигенция.

Забутые нами понятия, забытые лица, неузнаваемо измененные временем и, несмотря ни на что, – *хорошие лица*. Глаза, напряженные, всматривающиеся, от нас ожидающие чего-то большего, иного, чем формальная реабилитация с извещением о том, что «дело в уголовном порядке производством прекращено за недоказанностью предъявленного обвинения».

Да, наша история – не для семейного альбома.

1996

Олег Шайтанов

Кое-что из-под пепла

Фрагменты воспоминаний

У каждой семьи есть предания, смутные, мерцающие сквозь десятилетия. Их место действия носит реальное географическое название, но прежде чем находишь его на карте, оно складывается в образ почти мифического инобытия.

Таким изначальным мифом в нашей семье был Никольск. Там родился мой отец Олег Владимирович Шайтанов (1914–2001), там он прожил первые восемь лет жизни и никогда более туда не возвращался. Никольск остался в памяти как узелок, связавший события, происходившие в детстве, пришедшему на годы Первой мировой войны и революции, с теми, что случались с семьей много раньше и много позже.

В Никольске начиналась жизнь. С Никольска начинаются и воспоминания о ней. Они писались в 1981–1982 годах. Их начало объясняет и обстоятельства, при которых они задуманы, и их форму:

Я стал пенсионером... Что делать дальше... Размышлять, вспоминать, подводить итоги... С чего начиналось? Чем кончается? Что осуществилось? Что осталось в проектах, в мечтах?

Пусть не будет ничего стройно последовательного. Пусть будет лишь поток мыслей, настроений, возникающих произвольно, вызванных соприкосновением с чем-либо внешним... В промежутки между работами в саду и другими хозяйственными делами буду заносить их на бумагу – это поможет мне побеждать время, неумолимо быстрое и томительно тягучее.

О. Шайтанов вернулся в Вологду после семнадцатилетнего отсутствия летом 1945 года. Его отец, репрессированный еще в 1931 году, умер где-то на границе с Монголией в 1937-м. Дом в Смоленске сгорел в войну. Оставался семейный дом – в Вологде. С этого момента вплоть до выхода на пенсию он работал в Вологодском педагогическом институте. Более тридцати лет – деканом историко-филологического факультета (факультет менял свое название).

За воспоминания принимаются, когда сделать это позволяет время... Эта фраза имеет двойной смысл. Мемуары – жанр для человека, многое сделавшего и, скорее, удалившегося от дел. Тогда-то и остается время, чтобы вспомнить. Но для людей, проживших в России XX век, очевиден еще и буквальный смысл: время не позволяло помнить то, что было. Помнить было опасно и страшно. Только где-то в начале 1990-х отец как-то сказал мне: «За нашим домом на Калашной (ул. Гоголя. – *И. Ш.*) когда-то был луг. Бабушка продавала с него траву и жила этим. Посреди луга был пруд. Там мой отец в 1918 году утопил свое офицерское оружие, так как по городу ловили и расстреливали царских офицеров».

Как и обещал, отец не написал больших связных воспоминаний, но лишь обрывочные впечатления и мысли о прожитом и сохранившемся в памяти – «из-под пепла». Они писались не для печати, но один фрагмент из них, включающий и некоторые никольские страницы, появился при жизни отца в газете «Красный Север» к его 85-летию 28 августа 1999 года.

Рукописный текст, записанный в обычных школьных тетрадях, я набирал на компьютере и дополнял его по более ранней магнитофонной записи воспоминаний отца и по его рассказам, которые сопровождали чтение того, что я успевал подготовить. Отец дополнял и правил на слух.

В основу данных воспоминаний положен рукописный текст, дополненный магнитофонными и устными вставками. Фрагменты расположены в хронологической последовательности.

Игорь Шайтанов

Детство в Никольске

Большинство моих предков по отцовской линии принадлежало к духовному сословию. Мой прадед – протоиерей Александр Федорович Шайтанов, как сказано в его некрологе, опубликованном в «Вологодских епархиальных ведомостях» (1893, 15 июня), окончил Вологодскую семинарию в 1836 году. С 1843-го по 1881-й служил в Троицкой Енальской церкви Кадниковского уезда, где и был погребен. Многие из его потомков (у него было двое сыновей и пять дочерей) также последовали ему на духовном поприще.

Но мой дед, Илья Александрович Шайтанов, окончив семинарию, женился на вдове и тем закрыл себе путь к священническому сану. Его сыновья Владимир и Николай, следуя семейной традиции, также окончили семинарию, но после нее поступили в светские учебные заведения и стали врачами.

Сто лет назад в Вологде жила семья Ильи Александровича Шайтанова, служившего конторщиком в пароходстве. Накопили денег, купили новый, только что построенный, сверкавший свежим тесом дом на Калашной улице. Летом по воскресеньям после обедни пили на балконе чай с пирогами (бабушка была мастерицей печь пироги). За столом – семья: Илья Александрович, грузный, в очках, с газетой в руке; тихий серьезный старший сын Володя; слегка жеманная дочь Аня; крепкий непоседливый бутуз Коля; строгим взглядом на нем неоднократно останавливалась восседавшая за самоваром суровая, властная Александра Павловна, глава семейства. В новом доме лучшую комнату отвели Ане: любимица матери, будущая невеста, должна сделать хорошую партию. Сыновья спали в темном проходном закутке перед спальней родителей.

Первым умер Илья Александрович, умер одинокий, уехавший от семьи в Коношу после ссоры с женой из-за денег. Одинокой старой девой (мать браковала ее женихов одного за другим – недостойны) умерла Аня. До конца дней она жила в родительском доме, постаревшем, как она, потемневшем, присевшем к земле. Жила, продавая комнаты – одну за другой, под конец осталась у нее лишь ее комната с грязными, висевшими клочками, а когда-то новыми красивыми золотописными обоями. Одиноким умер где-то в Сибири Владимир. Коля дожил до девяноста лет, превратился из неугомонного бутуза в могучего мужчину, потом в дряхлого старика. Последние годы почти не вставал с дивана...

Сто лет назад в Архангельске жила семья врача Оттона Антоновича Гриффина. По семейному преданию, фамилия – от выходцев из Англии или Шотландии, вынужденных эмигрировать в Литву после английской революции XVII века из-за своего римско-католического вероисповедования. Они сохранили фамилию, хотя уже растворились среди польской знати. Бабушки моей девическая фамилия – Каторбинская, а прабабушки – Межеевская.

Оттон Антонович Гриффин – мой дед. Он окончил Московский университет, уехал на Север, участвовал в проведении крестьянской реформы 1861 года. Дед умер скоропостижно: лечил больных в холерном бараке и заразился сам. В память о нем в Архангельске в конце прошлого века была выпущена брошюра (она сохранилась в семейном архиве)³, а красивый мраморный памятник стоял на его могиле вплоть до шестидесятых годов, когда пришло письмо от неизвестной женщины из Архангельска: кто-то опрокинул и разбил памятник.

После смерти дедушки вся семья – восемь детей – переехала в Петербург в 1898 году. Тетя Елена участвовала в студенческой демонстрации у Казанского собора и вспоминала, как

³ Точнее, это не брошюра, а оттиск из «Губернских ведомостей».

ей пришлось прыгать с высокой паперти, спасаясь от казачьих нагаек. Она была выслана в Кунгур, позже ей разрешили переехать в Никольск, куда после окончания Бестужевских курсов за ней последовала ее сестра, моя мама – Мария Оттоновна. Там она встретила моего отца Владимира Ильича Шайтанова, окончившего Казанский сельскохозяйственный институт и приехавшего в Никольск в качестве ветеринарного врача.

В июне 1912-го (не помню числа) в Никольске состоялась свадьба моих родителей. Все начиналось и для меня... Как это было? Где? Знаю только, что в православной церкви. С мамы взяли подписку, что дети будут воспитываться в духе православия, а не католицизма. Было ли застолье? Наверное, было. Как выглядели отец и мама? В чем одеты? Кто был за столом? Кто и какие тосты произносил? Наверное, главным оратором был заведующий аптекой Прозоровский. Я его не помню, но слышал о нем от старших как о жизнерадостном весельчаке и говоруне. Кто присутствовал еще? Православный священник? Конечно, были жена и свояченица Прозоровского – подруги мамы и тети Елены, тоже польки. Кто еще? Учителя гимназии, в которой преподавали мама и тетя? А со стороны отца? Не представляю – все это давно отшумевшая жизнь.

Кто окружал меня в детстве? Чье влияние было решающим при формировании личности ребенка в первые пять лет жизни? Мама, бабушка, тетя Елена... Отца не было, он на войне, вернулся, когда мне было уже около пяти.

Больше всех со мною бывала бабушка. Мама и тетя заняты на уроках в гимназии. Бабушка рассказывала, что ее предки упоминаются в поэме великого польского поэта Мицкевича «Пан Тадеуш» в связи с событиями 1812 года. Бабушка говорила о своем детстве где-то в Литве, недалеко от Вильно, в крошечном шляхетском имении, об аистах, которые жили на крыше... Аисты... Когда слышу по радио песню о Полесье, в памяти всплывают бабушкины рассказы.

Рассказывала, как шестнадцати лет вышла замуж за дедушку (ему было уже тридцать пять), вместе с ним поехала в... Архангельск, где он служил врачом. Морозы (вороны замерзали на лету), самоеды на оленях, семга – все это было для нее необычным, странным. Иного выбора у нее, однако, не было. Мать умерла от туберкулеза, когда ей было десять лет (значит, в 1865 году). От матери, моей прабабки, сохранились ложечки с ее инициалами – Идалия, в девичестве Межеевская.

Отец бабушки куда-то исчез. Предполагаю, что причиной были события 1863–1864 годов⁴; бабушка говорила как-то загадочно, что-то умалчивала. Воспитывалась у родных теток, полуницких шляхеток. Хлеб намазывали тонким-тонким слоем масла. Бабушка за столом показывала наглядно, как он был тонок.

Жизнь проходила в бурную эпоху. События ее отражались на моей судьбе и откладывались в памяти. Я родился менее чем через месяц после начала Первой мировой войны. Отца уже не было дома. Он уехал на фронт. Из рассказов мамы знаю, как это было.

Стояли теплые, но не жаркие дни недолгого северного лета. Цвели в садике около дома розы. Жизнь казалась безмятежной. Ждали ребенка. Выписали новую мебель. Были молодые, счастливые. Я представляю папу и маму тех лет лишь по фотографиям и рассказам. Папа – большой модник с пышной шевелюрой, с модными усиками, в белом стоячем крахмальном воротничке. В нем он ездил даже к больным коровам. Мама – элегантная, поражавшая необычной для русского севера красотой – черноглазая, черноволосая, тонкий нос с небольшой горбинкой.

⁴ Неизвестно, принимал ли кто-либо из наших предков участие в Польском восстании 1863–1864 годов. Об этом нет семейных преданий, в отличие от более раннего восстания – 1830–1831 годов: Идалия Межеевская вышла замуж за Людвиг Каторбинского в Париже в 1836 году, где обе семьи жили в качестве эмигрантов.

И вдруг грянули вести из Сараево... Мобилизация... Все радостные надежды на будущее померкли. Атмосферу тех дней начала войны представляю, читая стихи Блока:

Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком
наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели
боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда... В закатной
дали
были дымные тучи в крови.

Особенно отзывается в душе строфа:

Эта жизнь – ее заглушает пожар,
гром орудий и топот коней,
Грусть – ее застилает отравленный пар
с галицийских кровавых полей...⁵

Именно в Галиции оказался мой отец. Помню фотографии, снятые во Львове: он в военной форме с погонями, с офицерской саблей, в военной фуражке с круглой кокардой. Фотографии эти, к сожалению, не сохранились – погибли в Смоленске в 1941 году.

Мама осталась одна. Вызвала из Петрограда бабушку, чтобы помочь ей ухаживать за ребенком, появившимся на свет в эти грозные дни. Бабушка доехала поездом до станции Шарья (навстречу шли эшелоны с солдатами), потом до Никольска сотню верст на лошадах. Поразила ямщика своим басом и монументальностью: «Ну и тещу я тебе, барин, привез», – рассказывал ямщик отцу, которого вез тоже от Шарьи во время отпуска из части. С тех пор бабушка оставалась у нас больше десяти лет. Это способствовало, пока папа отсутствовал, созданию в семье такой же атмосферы, которая царил в доме, когда росли мама и тетя Елена. Теперь все они снова были вместе и, конечно, восстановили привычные нормы домашнего порядка.

В 1915 году мама ездила к отцу в Варшаву, куда он был переведен из Галиции. В Варшаве отец купил часы «Омега», которые служили ему до конца его пребывания дома, а потом мне до 1970-х годов; ни разу не ремонтировались за пятьдесят лет, если не считать, что я раздавил циферблат уже во время Второй мировой войны, запрягая лошадь. Из Варшавы мама уехала одним из последних поездов перед взятием ее немцами. Уже слышалась артиллерийская канонада.

Были и другие опасные для моих близких моменты. Отец чуть не утонул в какой-то речке в Галиции, переправляясь через нее со своей артиллерийской частью, но лошадь вынесла его на берег. Думал при этом, что так и не увидит родившегося сына.

На фронте отец случайно встретился с братом – дядей Колей, чудом уцелевшим при разгроме армии Самсонова в Восточной Пруссии⁶. Несколько суток дядя полз по кустам, по болотам, выходил из окружения, полз под свист пуль и гром снарядов.

С Первой мировой войной связаны еще мои воспоминания о картинках из журналов: немцы в остроконечных касках, казаки с пиками, портрет генерала Брусилова.

⁵ Стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем...» написано 1 сентября 1914 года.

⁶ Александр Васильевич Самсонов (1859–1914) – генерал от кавалерии, командующий 2-й армией Северо-Западного фронта. После провала операции в Восточной Пруссии летом 1914 года погиб при невыясненных обстоятельствах, возможно, застрелился.

Дом в Никольске, где прошли мои дошкольные годы, стоял на улице, которая после революции носила имя Троцкого. Она шла параллельно главной, ведущей к собору. Мы занимали весь нижний этаж. На верхнем этаже жили хозяева. Детская, столовая, большой зал, кухня... Не помню, где была комната родителей. В детской – кровати моя и сестры, печка с лежанкой, на которой грелся отец, приходя с мороза, большой стол, заваленный игрушками.

Первые картины, впечатления, всплывающие в памяти. Душная летняя ночь... Окно открыто, через него вливается теплый воздух и какие-то мелодичные звуки... Когда я прочел «Слепого музыканта», там обнаружил картину такой же ночи. Знойный день, пахнет дымом (вокруг города, говорят, горят леса), на столе, вынесенном в тень за домом, мы с сестрой раскладываем кубики – на них цветы; нарядные, как цветы, дети; какая-то другая заманчиво красивая жизнь... Опять летний день. Я лежу на траве в огороде около бани. Ее крыша покрыта мхом, который кажется мне необыкновенно прекрасным зеленым бархатом.

Тетя преподавала в гимназии историю. Приносила картины, на которых были мечи, шлемы, кольчуги – они будили воображение, интерес к далекому прошлому. Не отсюда ли мой интерес к истории, который никогда не покидал меня? Читали мне много стихов, рассказывали о Пушкине, о Мицкевиче. Особенно мне нравились «На берегу пустынных волн», «Полтавский бой», «Бородино». Я их просил читать мне вновь и вновь, запомнил, любил декламировать. Вот и начало влечения к литературе.

В рассказах о детстве Пушкина больше всего запомнились проявления странности, необычности. Деда его предков были африканцы. А у Некрасова и Короленко матери – польки, как у меня...

Мать – полька. Это определило невозможность в моем сознании чего-либо похожего на шовинизм. В 1920 году я услышал о войне с поляками, выбежал во двор, размахивая деревянной саблей с криком «Бей поляков». Мать сказала: «И меня ты будешь бить?» Я растерялся.

Отца я помню хуже, чем маму и бабушку, – его долго не было, а вернувшись с войны, он мало бывал дома – все на работе, а потом его совсем не стало в семье – мне исполнилось лишь восемнадцать лет. Худощавый, седой не по годам, с одним лишь зубом (потерял зубы на войне), отец уходил или уезжал в любое время суток, в любую погоду по вызовам к больным животным. Лютая стужа, он садится в крестьянские сани (я вижу из окна), закутывается в тулуп. В свободное время что-нибудь мастерил. Починил и обил два кресла, изготовил для меня из деревянных планок и бумаги макет корабля под парусами, другой – современный для тех лет дредноут, как на картинке, больше полуметра длиной...

У отца был хороший музыкальный слух. Он играл на скрипке, любил петь. В последний вечер, когда за ним пришли, он пел арию Ленского. Мать уже пошла открывать, а он пел. Не могу слышать эту арию без чувства скорби и горечи.

Отец много читал, любимый его писатель – Достоевский, особенно «Братья Карамазовы» (я спросил его в последний год). Мне он прочел вслух всю «Одиссею» в переводе Жуковского.

Когда мне было восемнадцать лет, отца арестовали по так называемому чая-новскому делу: нужно было на кого-то взвалить вину за неудачи коллективизации деревни. Это случилось в Смоленске, куда отец переехал в 1928-м из Вологды, чтобы занять место директора ветеринарного бактериологического института.

О революции и Гражданской войне в те годы я ничего не слышал. Но некоторые впечатления тех лет связаны с этими событиями. Однажды ночью проснулся от яркого света ручного фонаря, в комнате были чужие люди, много позже мама сказала, что кого-то искали, проверяли все дома. Помню поразившую меня картину: по середине улицы идет десятка два мужчин, а по бокам и сзади солдаты с ружьями наперевес. Я спросил, что это было: «Вели дезертиров». Один из сыновей аптекаря Прозоровского помешался после того, как, выйдя на заднее крыльцо, стал невольным свидетелем расстрела дезертиров. Это было уже после революции.

В нашу квартиру вселилось целое учреждение – ветеринарный отдел уездного совета (отец стал его заведующим – сохранилось удостоверение тех лет). Заняли зал, поставили столы, сидело человек десять мужчин и женщин. Кровать отца стояла в этом же зале, за ширмой.

На обед подавали суп из конины и ячменную кашу, иногда жаркое из жеребятины. Отец, как ветеринар, доставал ее, когда приходилось почему-либо закалывать лошадь или жеребенка. Жаркое казалось очень вкусным. Ели ячменные лепешки, пекли ячменное печенье. Потом мама рассказывала, что она успела до того, как ничего не осталось в продаже, купить большое количество ячменной муки, которую спрятали в подвале под детской комнатой. Крышка подвала была прикрыта ковриком, а на нем стояла моя кровать. Ячменная мука и конина избавили нас от голода в те трудные дни.

Из Никольска мы уехали в 1922 году в Великий Устюг, где прожили всего лишь год. Там я пошел в школу.

По Вологде

Прошел мимо старого дома на углу улиц Кирова и Мальцева, в котором мы жили в 1923–1928 годах. Он одряхлел, стал ниже, как бы сгорбился, но еще стоит, хотя кругом выросли новые высокие дома. Вот крыльцо – на нем часто сидела бабушка Бронислава Людвиговна. Вижу ее: в широкой серой или коричневой блузе, очень полная, с расплывшимся широким добродушным лицом, с тройным, опускающимся на ворот блузы подбородком. Глаза у нее и в семьдесят лет были хорошие, и она любила читать. Читала польских писателей, исторические романы Сенкевича, Крашевского...

Бродил по городу. Пришел на Соборную горку. Сюда приходил много раз в разные годы, в разные минуты жизни, веселые и печальные, тревожные и спокойные. Вспомню некоторые из них.

1926 или 1927 год. Лето. Вечер. Солнце уже садится, последние его лучи среди серых облаков. Я с отцом. Сидим, молчим, изредка о чем-то говорим, смотрим на вечернюю рябь. Направо, в стороне моста, белеет чайка на сером фоне неба. Сейчас чайки нет, и отца давно нет...

1963 год. Я прошел по конкурсу преподавать в Липецкий институт. Жена Муза – в Сочи. Я один должен решить, ехать или не ехать. Мучаюсь сомнениями. Опять пришел на Соборную горку. Ко мне подсел старик – знал еще моего деда. Другой старик, позже – через несколько лет, остановил на улице, спросил: «Кто такой И. Шайтанов, чья статья появилась в “Красном Севере”? Не Илья ли Шайтанов?» Илья, мой дед, оказывается, в качестве крестного отца присутствовал при его крещении. Я ответил, что Ильи нет в живых уже полвека, а статью написал Игорь, мой сын.

Дед, наверное, тоже приходил на Соборную горку. Может быть, и прадед, и прапрадед. Рядом собор, в котором они, конечно, бывали. Наши корни в Вологде. Как от них оторваться?

Подготовка текста к печати

И. Шайтанова

О вологодском быте середины прошлого столетия

Встреча с культурой на вологодской улице *Беседу с М. Н. Богословской вел Игорь Шайтанов*

Душный август на загазованном Советском проспекте возле еще не снесенного тогда речного вокзала. Здесь всегда было особенно шумно и дымно.

...Тяжелые грузовики несутся дребезжа (кажется, вот-вот развалятся), с ревом и гарью. Улица хоть и не широка, но сразу не перейдешь. И вдруг посредине улицы вижу ее – маленькая хрупкая старушка, вся в белом, с зонтиком и с палочкой. Прямая, легкая. Сразу узнаю Марию Николаевну и перебегаю вслед за ней.

– Здравствуйте, – и на всякий случай представляюсь, – я внук Манефы Сергеевны Перовой.

– Как же, помню. Что? Как видите, на ногах, а ведь мне девяносто девятый. С вашей мамой недавно разговаривала по телефону.

Да, мама говорила об этом, как и всегда – о Марии Николаевне, своей учительнице биологии и минералогии. В 1938 году, когда мои дедушка и бабушка были арестованы, мама с младшим братом просидела ночь в очереди, чтобы приняли передачу, а наутро в школе был экзамен по математике. Спасла Мария Николаевна: настояла, чтобы вывели общую оценку. Сама она тоже была накануне ареста.

– Что вы думаете о современной политике? – Сквозь уличный грохот пробивается ее вопрос. И тут же опережает меня с ответом. – Я все-таки оптимист, хотя и от своей социалистической веры не отступила.

Я прошу разрешения в один из приездов в Вологду навестить ее. Получаю приглашение, которым воспользовался только в январе 1994-го, за три месяца до ее столетнего юбилея.

Воспроизвожу разговор, каким его записал. Хотелось сохранить строй мысли – ясной и достойной. Строй языка – в нем звучит целое столетие. Здесь и давние – дореволюционные – выражения и интонации. И другие, насильно вбитые в наше сознание, так что никак их не забудешь, цепляются, держат. У слова своя память – историческая и культурная.

– Мария Николаевна, бывают знаменательные совпадения. Вчера я читал в «Вологодских епархиальных ведомостях» некролог моего прапрадеда протоиерея Александра Шайтанова, и там сказано, что отпевал его в Кадникове летом 1893 года священник Николай Богословский.

– Так, папа около этого времени начал служить... Но, постойте, в Кадникове? Нет, другой Богословский, их ведь много было. Наша-то коренная была фамилия Захарьины, и жили в селе Захарьино, но когда там открывали новую церковь Ивана Богослова, как раз кончал старший сын священника семинарию. Церковь освятили, его назначили священником и дали фамилию Богословский. Пять поколений все по линии священников. Мои дедушка и бабушка жили в Кубенском.

– А вот автор статьи в тех же «Ведомостях» об открытии в Кубенском в 1894 году библиотеки...

– Это мой папа. Его книгу о Кубенском сейчас переиздают – подарок, говорят, к вашему столетию. Папа всю жизнь прожил в Кубенском. В нашем доме открыт краеведческий уголок. И я оттуда уехала в 1917 году учиться в Вологодский педагогический институт. Первые года дома не бывала, потому что связь с родителями считалась потерянной, хотя я связь, конечно, имела, но ездить туда к отцу-священнику не могла. Меня и так исключали из института, потом

восстанавливали. Я окончила, работала, затем была арестована, сидела в одиночке, в конце концов оправдали. А папу расстреляли. Фамильный путь Богословских очень, очень длинный. Много было страданий, все тяжело, все пережито. Как у Ахматовой: «Звезды смерти сияли над нами, и безвинная корчилась Русь...»

– *Мария Николаевна, вы всю жизнь прожили здесь, в Вологде, в провинции. Как вы относитесь к этому понятию и к самому слову «провинциал». Оно было в ходу?*

– Так как же.

– *А с каким отношением его произносили?*

– С отношением добродушного снисхождения. У столичных – манера говорить, манера держаться, а в провинции все это было гораздо проще. Считалось, что провинциалы, быть может, не имеют правильного литературного языка... Но, знаете, провинциалы часто культурно росли очень быстро. Мне кажется, что провинция никогда не спала, и культурная работа там велась внутренне очень большая.

– *В июле этого года в Вологде задумали провести «круглый стол» по культуре русской провинции...*

– Очень интересно, ведь сколько помещиков здесь было.

– *А почему только о помещиках речь?*

– Конечно, все это общий корень. Дворянство с земством. Затем духовенство – округа благочиннические. Потом купечество как таковое, ведь наша Вологда тоже купеческая, и мое Кубенское, его росту способствовала много купчиха Буракова. Купечество делилось как бы на две части: коммерческое и такое уже с духом, как – здесь недавно вспоминали – Леденцов, отдававший много сил и средств на поднятие общей культуры. Это все постепенно формировало общество, духовный мир нашего вологодского края. А перед Первой империалистической войной, если взять наше общество, – большие культурные силы работали: народные чтения устраивались, земство открывало школы, способствовало просвещению. Из партий особенно революционно, энергично работали эсеры – среди крестьянства, помогали земству.

– *А вам не кажется, что великая русская литература не вполне справедлива к провинции, даже Чехов. Глубина провинции, ее внутренняя жизнь остались не до конца увиденными?*

– Чехов, конечно, бытовую сторону подмечал. И другие тоже: Помяловский, Гарин-Михайловский...

– *А вам сейчас кажется, что духовной жизни там было недостаточно?*

– Вот если конкретно брать, – я учительница в начальной школе, окончила гимназию. Что мы вели, кроме занятий с учащимися? Обязательно работу по просвещению крестьянства. Грамоте учили, во время войны письма писали, беседы проводили. Ко мне ездил представитель земства, привозил исторические картины, изображавшие Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Николая Угодника – кому что нравилось. Показывали их с волшебным фонарем, который был как теперь – телевизор. У меня каждый четверг в деревне Настасьино беседы с крестьянами, и это велось по всем округам.

– *А роль священника?*

– Папа очень любил проповеди. Он был священником немного нового толка, считал, что его роль – в первую очередь нравственно поднимать население. Он не очень верил в простое моление. Расскажу конкретный случай.

Я была в своей комнате. Приходит папа, а я молюсь. Он говорит: «Маня, ты что делаешь?» – «Молюсь, папа». – «Так ты о чем молишься-то?» – «Чтоб все было хорошо». – «Слушай, ты помнишь, вчера пришла с учительского собрания и опять, говоришь, тетради не проверила, а завтра надо будет проверять другие. Вот ты остановись на этом: ты молишься, а если бы высидела ночь, все проверила, тогда бы и сделала большое дело, нравственное, сильное дело. Если хочешь, это было бы угодно Богу, чтоб ты над собой работала, а не то, чтоб ты

кланялась, просила у *Него* помощи. Надо не просить, а на себя обращать внимание, на свои поступки. Собой займись, за собой следи, пусть это будет твоей верой».

У него и в духовной жизни села направление было такое же. Приходит как-то женщина, бросается папе в ноги: «Батюшко, спаси, ведь Иван-то мне жизни не дает, измучил всю, избил, мне и жить невозможно. Помолись за меня». – «Садись, Елизавета, скажи, как вы живете». – «Вот он приходит, батюшко, пьяной, орет, а я его брошу, последний раз даже из ковшика водой облила». – «Слушай, давай-ко порассуждаем. Вот пришел он пьяный, так ты его не ругай, а возьми в чулан сведи, скажи, мол, – ляг на диван, выпись. Если голоден, так дай ему поесть что-нибудь. Пусть он бурчит, ты его накорми и оставь. Понаблюдай за собой. Не ругайся, спокойно делай свое дело. Станет-то трезвый, не будет ведь тогда тебя бить?» – «Нет, не будет». – «Зачем же ты его сердишь-то. Ты изменись, а не Ивана ругай. Что я буду молиться об Иване, дело-то в тебе, в том, как ты к нему относишься».

Она все равно просит: замоли. Отец отвечает: «Я-то буду молиться, а ты-то за собой походи. Измени свое отношение к Ивану».

Он побеседовал с ней в таком духе. Потом через какое-то время, смотрю, опять она. В ноги бросается: «Ой, замолил, замолил. Иван-то ведь другой стал, батюшко, вчера и ведра починил, и все мне делал. И пить-то стал гораздо меньше. Мы теперь с ним, батюшко, и не ругаемся».

Такое у отца было направление работы как священника – воспитательное.

– *А многие придерживались этого направления?*

– В том-то и дело, что немногие, очень немногие. Были священники и пьяницы, были такие, что с крестьянами пили, сколько угодно. Были священники-предприниматели, которые сельским хозяйством занимались, честные, хорошие, но лишь своим деловым примером. А такие, как отец, вот Шаламов – старый Шаламов – был. Отец относился к нему хорошо. Шаламов тоже все говорил: священника роль – пример своим образом жизни. Он не признавал, чтобы священник когда-нибудь появился в приходе пьяным, а это обычное дело – священники всегда напивались.

Правильно поставленная роль церкви там, где священники были на достаточной высоте, на достаточном уровне культуры. Они вели просветительную работу, читали проповеди. Папины печатались даже в «Епархиальных ведомостях», ему награды давали за это.

Такой была воспитательная роль церкви. А молитва – красота, духовная жизнь. Хорошее пение, хорошая служба – все это торжественно по древности обряда. Церковь – первый пласт культуры по поднятию общественного сознания и внутренней жизни человека.

Папа меня, собственно, на материалистический путь наставил. Девочкой водил гулять, небо показывал, заинтересовал природой, он природу очень любил. У нас был хороший сад, много плодовых деревьев, вишни. Отец всем сам занимался.

– *А вы Шаламова, отца писателя, не видели?*

– Нет, лично с ним не встречалась, помню, что он как-то к нам приезжал, знаю, что папа с ним общался.

Из тех, кто принадлежал к передовому духовенству, я хорошо знала отца Сергия Непеина. Его жена была родная сестра моего папы. Дядя Сережа все работал над историей Вологды – «Вологда прежде и теперь». Помню, как работал, списки делал.

Было большое собрание у духовенства между собой. Ходили друг к другу, собирались, играли, музыка была, читали, здесь и начало революционных идей, тут и Чернышевский, и Павлов, они корни свои ведут из духовенства, из такого вот быта. Мы тоже, когда собирались, поговорим, поговорим, да и о политике, по-своему.

– *А сама эта среда после 1917 быстро рассыпалась?*

– Можно сказать, что очень быстро, но я связываю это не с Лениным, а со Сталиным. Для меня Ленин личность историческая, большая, крупный революционер.

Взять сам 1917 год, с революцией сначала вся интеллигенция шла. Питирима Сорокина помню, чудеснейший оратор был, уехал в Америку. Я его не один раз слышала в бывшем страховом обществе. Интересный человек, широкий. Даже Ленин так устроил, что его в Америку выпустили, сказал: это достойный человек и с правильным мышлением. Спас его.

Тут были первые съезды, выборы в Учредительное собрание, общий подъем интеллигенции, резкая партийная борьба между меньшевиками, большевиками, эсерами. Я была участницей второго выборного собрания в деревне Каншино. Я выступала там за меньшевиков, и вот встал молодой матрос: «Ой, барышня, барышня, ничего вы не знаете о большевиках, как вы мало всего знаете». И у меня на всю жизнь осталось, что я неграмотный человек, что мне надо учиться.

– Мария Николаевна, но ведь и после 1917-го, и после 1924-го люди прежней среды, прежней культуры оставались и остаются – вы одна из них.

– Я всю жизнь была «я», всегда по жизни шла со своим «я», и вот теперь – конец борьбы. Знаете, у Киплинга:

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!»

Я этой волей и живу. Это воля к жизни и еще некоторая доля интереса ко всему окружающему остались. Они меня держат. Так что жизнь – штука сложная, не просто она проходит. Надо жить до конца. Мне сейчас очень трудно жить чисто физически – ничего не вижу. Мне, конечно, все покупают, но варить-то, делать приходится самой. И уже – предел. Я решилась на операцию глаз, на седьмое февраля назначили. Я им прямо скажу: я всю жизнь экспериментировала, столько опытов разных провела, черных куриц делала белыми, так что экспериментируйте со мной. Вот вам экземпляр для медицинского опыта.

Я единственно, что хочу, – видеть лица. Я хочу уйти из жизни, чтобы в последний момент я все-таки видела лица. Вот мое желание.

Р. С. Операция на глаза прошла удачно. В свое столетие в апреле 1994 года Мария Николаевна видела лица людей, пришедших поздравить ее. Умерла она спустя три года – 1 мая 1997-го.

2008

Ирина Гура **Старая Вологда**

1949 год. Мы с мужем приехали в незнакомый город, чтобы начать новую самостоятельную жизнь. Позади было пять университетских лет в большом волжском городе Саратове. Здесь нам предстояла работа на кафедре литературы педагогического института.

О Вологде мы имели самое смутное представление. Знали, что город областной, старинный, находится где-то на севере. Особенно разбираться и вникать было некогда – собрали свои нехитрые пожитки и поехали. От Москвы поезд тащился часов 14, и за это время мы с интересом и не без труда постигали особенности вологодского произношения, прислушиваясь к разговорам наших спутников, коренных вологжан.

Наконец прибыли к месту своего назначения и вышли на привокзальную площадь. Первым человеком, принявшим нас на Вологодской земле, стал лаборант кафедры литературы Иван Сергеевич Окулов. Уже немолодой, очень милый и деликатный человек, он встречал нас

на институтском грузовике, которым правил Валентин Менгелев, впоследствии не один раз выручавший нас своим транспортным средством. С грохотом, подпрыгивая на булыжниках, которыми была вымощена главная улица, конечно же носившая имя Сталина, мы отправились на улицу Папанинцев (теперь – проспект Победы). Здесь находился единственный в то время ресторан под названием «Север». Он и сейчас существует под тем же названием. Над ним были расположены номера, принадлежавшие в старое время, видимо, одному хозяину. Небольшие узенькие комнаты были превращены в квартиры для преподавателей и служащих института. После крохотной комнатухи в общежитии Саратовского университета это жилище показалось нам настоящими хоромами. Ведь имелась еще и кухня с плитой, небольшой чуланчик, водопровод на общей кухне и прочие удобства – тоже общие. Мы были непритязательны и готовы довольствоваться малым. Совсем недавно закончилась война, жизнь еще только налаживалась, а мы, вчерашние студенты, пока еще ничего не заработали и не могли предъявлять никаких претензий.

В институте нас приняли хорошо. Декан историко-филологического факультета Олег Владимирович Шайтанов и заведующий кафедрой литературы Геннадий Иванович Лебедев определили нам нагрузку, учли и наши пожелания. Оставалось еще несколько дней до начала занятий, и мы решили познакомиться с городом. Оказалось, что мы живем в самом центре. Кругом были интересные старинные здания, остатки бывших рядов, Каменный мост, где находилось фотоателье с дореволюционным чучелом медведя при входе, а рядом – «Оптика», где еще продавались пенсне. Здесь же находилось несколько магазинов, и в том числе особенно привлекательный для меня – кондитерский. Правда, и в бывших рядах продавали вкуснейшую вещь – маринованные белые грибы. Их доставали из больших бочек. Красивые, желто-коричневые, скользкие от маринада, они были восхитительного вкуса.

Как ни странно, в первые годы пребывания в Вологде мы могли лакомиться такими вещами, которые теперь попали в разряд почти недоступных. Это была черная икра, которая стояла в больших емкостях и ее продавали на вес, и крабы. Последние не пользовались особым спросом у населения, и потому банки с этим деликатесом красивыми пирамидами возвышались на полупустых полках продовольственных магазинов.

По городу ходили три автобуса. Маршрут первого номера начинался на Лынокомбинате и заканчивался в Ковырине (теперь – Октябрьский поселок). Номер третий шел от Прилук до вокзала, и так оставалось многие годы. Как ходил номер второй, не помню. В конце 1950-х годов появилось несколько такси.

Одной из примет Вологды были деревянные тротуары. Константин Симонов, проезжавший через Вологду на Карельский фронт в октябре 1941 года, написал здесь стихотворение «В домотканом деревянном городке»:

В домотканом деревянном городке,
Где гармоникой по улицам мостки,
Где мы, с летчиком сойдясь накоротке,
Пили спирт от непогоды и тоски...

Деревянные мостки еще держались на улице Урицкого до конца 1950-х годов, когда мы переехали в новый дом и когда постепенно вообще менялся облик улицы, появлялись каменные дома. А тогда прямо в центре, рядом со зданием института, на берегу, возле Соборной горки находилось деревянное здание институтского общежития, а дальше – величественная громада Софийского собора. Это место стало навсегда самым любимым в городе.

В общежитии мы часто бывали у своих коллег, вскоре ставших друзьями. Это были Тамара Алексеевна Беседина и ее муж Юрий Дмитриевич Дмитриевский, приехавшие из Ленинграда. Тамара Алексеевна работала на нашей кафедре, она окончила Ленинградский универ-

ситет, и у нас нашлись общие знакомые, а главное – общие учителя, как, например, профессор Гуковский, который во время эвакуации работал в Саратове. Дмитревский был географом, но филологические проблемы и интересы были ему не чужды. Мы подружились и с Анной Михайловной Гольдиной, человеком большой души, преподававшей педагогику.

Из нашего дома перебрался в это общежитие еще один наш приятель, замечательный человек, специалист по русскому языку Борис Николаевич Головин, впоследствии профессор Горьковского университета. Вскоре на кафедре русского языка появилась пара молодых преподавателей – Татьяна Георгиевна Паникаровская и Вячеслав Александрович Шитов. Они жили в другом общежитии, на улице Лермонтова, но это не помешало им примкнуть к нашему дружескому кружку. В том же 1949 году после окончания московской аспирантуры на кафедре экономгеографии появилась Валентина Ивановна Веселовская, с которой я была знакома еще со школьных лет во Владимире. Наш декан, которого мы немножко побаивались на работе, оказался веселым и остроумным человеком, а его жена Муза Васильевна была первой красавицей Вологды.

Все вместе мы отмечали праздники, дни рождения, привнося в эти традиционные сборища много выдумки и молодого задора. Загадывали шарады, играли в литературных героев, писали смешные телеграммы, пожелания и шаржи, выпускали подходящие к случаю газеты. Дмитревский играл на пианино, и мы пели песню про Вологду. Музыка принадлежала ему, а слова – мне. И хоть Вологда была мне не родная, я писала с полной искренностью о ее очаровании, потому что это было близко к моей ленинградской природе:

Неказистая, суровая, простая —
Березняк, рябинка да сосна...
В целом свете ближе нету, нету края,
Вологодская родная сторона!
Белой ночи сумрак нежный
И осенних красок жар,
Колдовство метели снежной
Ты приносишь людям в дар.

Вместе с Б. Головиным Дмитревский сочинил еще «Гимн вологодских студентов». Там был такой припев:

Нас воспитает и научит,
Путевку даст и в жизнь и в труд
Родной для нас и самый лучший
Наш Вологодский институт!

Танцевали под «Брызги шампанского», новости слушали по черному репродуктору, оставшемуся с довоенных времен, «вражеские голоса» ловили по ламповому приемнику. Однажды он почему-то замолчал. Пришедший мастер обнаружил в нем мышиное гнездо. Был еще один повод посмеяться.

Чувства дружбы, взаимной близости, участия, доверия сохранились у нас до сегодняшнего дня. Иных уж нет на этой земле, но память о них в сердце навсегда. Они неотделимы от нашей молодости.

Мы умели развлекаться, но умели и работать, хотя на первых порах приходилось нелегко.

В студенческих аудиториях еще много было бывших фронтовиков, которые казались мне более взрослыми и умудренными жизнью, чем я, да так оно и было. На заочном отделении занимались вообще взрослые люди, многие уже работали в школе. Я смущалась и не ощу-

щала себя настоящим преподавателем, но чувствовала поддержку и симпатию студентов. Это немного успокаивало и придавало силы. Приходилось читать не те курсы, к которым я была более подготовлена. Мне досталась зарубежная литература, а я писала диплом по Алексею Толстому. Однако деваться было некуда, и приходилось много готовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Мужу было проще – он получил свою любимую советскую литературу, да и отношения со студентами, прошедшими войну, как и он, у него быстро наладились.

Это было время, когда у нас учились Сергей Викулов, тогда уже писавший стихи, Валерий Дементьев, впоследствии известный литературовед, Павел Булин и Владимир Пудожгорский, будущие доценты нашего факультета, Юрий Герт, теперь известный писатель, живущий в США, и много других талантливых людей, проявивших себя в филологии и в педагогике. Бывшим фронтовикам приходилось трудновато во всех отношениях, и мы, совсем недавно покинувшие студенческую скамью, хорошо их понимали.

На факультете было три преподавателя, что называется, старой закалки. Это были Вера Дмитриевна Андреевская, методист кафедры литературы, Александр Михайлович Ремизов, доцент этой же кафедры, и Василий Сергеевич Третьяков, доцент кафедры русского языка. Они нас подбадривали и не оставляли своим вниманием. Первая в Вологде новогодняя встреча прошла в доме Василия Сергеевича на Октябрьской улице. Мороз доходил до 40 градусов, и в деревянном доме, который в свое время был, вероятно, добротным, а теперь обветшал, было довольно холодно. Согревала теплота человеческих отношений.

Вера Дмитриевна, получившая педагогическое образование до революции, преподавала русскую словесность еще в гимназии. Она приглашала к себе в гости, делилась методическим опытом, что было для меня очень важно, потому что в университете методике почти не уделялось внимания. В ее маленькой квартире было так уютно и всегда находилось что-нибудь вкусное. Когда Виктор Васильевич защитил диссертацию, она подарила ему красивый бокал, по ее словам когда-то принадлежавший кому-то из князей Вяземских.

У А. Ремизова была большая библиотека, которой он разрешал нам пользоваться. До сих пор я нахожу на своих полках подаренные Александром Михайловичем книги с инвентарным номером, написанным его рукой. Так с помощью этих добрых людей и собственных усилий мы постепенно становились на ноги. Мне, новичку в зарубежной литературе, еще очень помогали лекции Олега Владимировича, которые он разрешил мне посещать.

Отличную обстановку на кафедре создавал ее заведующий, Геннадий Иванович Лебедев, который с большой семьей жил рядом с нами над рестораном «Север». Это у него я всегда перехватывала трешку или пятерку до получки.

Одним из неприятных воспоминаний первых лет нашей жизни в Вологде было обсуждение на кафедре изданной моим мужем, Виктором Васильевичем Гурой, книги «Русские писатели в Вологодской области», ставшей теперь почти библиографической редкостью. Она вышла в 1951 году. В ней, несомненно, были и ошибки, и пропуски, но не было никаких политических огрехов. Однако суровая и бдительная критика того времени их нашла. Автору строго указали на то, что в его книге не нашлось места для Сталина, в свое время побывавшего в Вологде в ссылке и что-то здесь написавшего. Тогда такое обвинение было довольно опасным. Но во время обсуждения на кафедре Геннадий Иванович не дал разгуляться страстям и никаких «оргвыводов» не последовало. Мы работали в спокойной доброжелательной атмосфере, в постоянном контакте с кафедрой русского языка, во главе которой стоял Б. Головин.

В 1950-е годы на разных кафедрах работали крупные специалисты. Игорь Кон, имеющий сейчас широкую известность как психолог, начинал работать на кафедре всеобщей истории. Артур Владимирович Петровский два года читал вологодским студентам психологию, затем уехал в Москву и через некоторое время стал академиком-секретарем, а затем и президентом Российской академии образования. Но не все попадали в Вологду добровольно. Кандидат химических наук Софья Соломоновна Норкина, бывшая доцентом МГУ и партр-

гом естественных факультетов университета, накануне защиты докторской диссертации была выслана сначала в Казахстан, а затем отбывала ссылку в Вологде и работала в ВГПИ. Такова же была судьба и профессора Гольдмана, одного из крупных физиков страны. Профессор Дягилев читал студентам естественно-географического факультета ботанику, профессор Чулков – анатомию. Павел Викторович Терентьев, бывший проректор Ленинградского университета, доктор биологических и кандидат физико-математических наук, читал зоологию. Профессор Гуковский – историю. Для провинциального вуза это была редкая удача. Многие, правда, уехали после 1953 года.

Все торжественные мероприятия по праздникам проходили в КОРе, как он назывался раньше (Клуб октябрьской революции), или Дворце культуры железнодорожников, как его именовали уже при нас. Там же приезжие знаменитости давали концерты или спектакли. Часто приезжал Ярославский симфонический оркестр, которым дирижировал Юрий Аранович, теперь давно уже находящийся в Израиле. Мы имели счастливую возможность слушать величайших пианистов нашего времени Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса, знаменитого Мстислава Ростроповича, еще одного известного виолончелиста Даниила Шафрана. На сцене Дворца культуры железнодорожников играл ансамбль скрипачей Большого театра под управлением Юлия Реентовича и знаменитый джаз Олега Лундстрема. На ней танцевал Махмуд Эсамбаев и ставил балеты Макс Миксер, в которых блистали вологодские девочки и мальчики.

Привозили свои спектакли московские и ленинградские театры. В том же зале мы смотрели мхатовских «Мещан» и «Беспокойную старость» с Ольгой Андровской. Алла Константиновна Тарасова играла Раневскую в «Вишневом саде». Вместе с ней в спектакле были заняты Степанова, Яншин, Грибов, Масальский, так называемые мхатовские старики. «Последнюю жертву» с Тарасовой мы видели в постановке Московского областного драматического театра. Из Ленинграда театр имени Ленсовета привозил ибсеновскую «Нору» или «Кукольный дом». Каждое такое событие было праздником, его нельзя было пропустить. Мы хоть в чем-то становились причастными к столичной жизни.

Надо сказать, что и Вологодский драматический театр в 1950-е и 1960-е годы радовал своих поклонников отличными спектаклями. Художественным руководителем театра с 1954-го по 1965 год был Александр Васильевич Шубин, заслуженный деятель искусств РСФСР. Человек большой культуры, окончивший студию Мейерхольда в 1916 году, он был отличным режиссером и педагогом. Мы не пропускали ни одной премьеры, знали всех артистов, «Красный Север» заказывал нам рецензии на спектакли, и мы писали, хоть и не были театральными критиками. Любимцами публики были Марина Владимировна Щуко и Василий Васильевич Сафонов, оба заслуженные артисты РСФСР. При театре был филиал студии МХАТа, которым руководил А. Шубин, и я даже читала молодым актерам зарубежную литературу, что мне было очень интересно.

Само помещение театра на бывшей Дворянской улице как бы хранило память XIX века. Мне представлялось, что именно в таких провинциальных театрах впервые ставились пьесы Островского, Тургенева, Гоголя. Действительно, Вологда знала замечательные времена. Здесь начинали свой путь Орленев и Корчагина-Александровская. На вологодской сцене в разное время выступали Андреев-Бурлак, Варламов, Давыдов, Мамонт Дальский, Блюменталь-Тамарина, представители театральной династии Садовских.

Первый деревянный театр сгорел. Новый каменный был небольшой, но вполне достаточный для такого города, каким в 1950–1960-е годы была Вологда. Зал почти всегда был полон, особенно на премьерах. Вологда, обладавшая давними театральными традициями, сохранила их и в новые времена.

Из тогдашних спектаклей запомнились «Живой труп», «Фома Гордеев», «Обрыв», «Такая любовь» Когоута, «Кремлевские куранты», «Вишневый сад». Марина Владимировна Щуко поражала многогранностью своего таланта в «Госпоже министерше» Нушича, в итальян-

ской пьесе «Деревья умирают стоя». Ей одинаково был доступен и трагический, и комический репертуар.

Филармония в те времена располагалась в том здании, где сейчас находится кукольный театр «Теремок». Там мы слушали Зару Долуханову, Михаила Александровича, Александра Вертинского и других известных певцов, а еще раньше, до нашего приезда, там выступал Вадим Козин. Ленинградская консерватория присылала своих артистов, которые представляли сцены из разных опер.

В центре города был большой кинотеатр. Он был назван именем Горького и оборудован в бывшей церкви, через некоторое время разрушенной. Старая прочная кладка долго не поддавалась, но в конце концов сдалась. Кроме того, работали «Спутник» за вокзалом, «Искра» на улице Ленина, позже – «Родина» в заречной части города. Фильмы показывали и во Дворце культуры железнодорожников. Картин тогда снималось немного, шли они подолгу, и мы успевали все посмотреть, иногда и по два раза, благо билеты стоили копейки, не так, как теперь.

Что мы смотрели в 1950-е годы? «Весна на Заречной улице» и «Высота» с самым популярным и любимым Николаем Рыбниковым. «Сорок первый», необыкновенно смелый по тем временам, с Изольдой Извицкой и Олегом Стриженовым, «Дело Румянцева» с Алексеем Баталовым и Инной Макаровой, «Убийство на улице Данте» с Михаилом Козаковым. В марте 1961 года во Дворце культуры железнодорожников проходил кинофестиваль, приехали артисты, раздавали автографы. Мы с Музой Васильевной Шайтановой получили фотографию Валентина Зубкова («Коммунист», «Солнце светит всем») с его автографом и несколько слов от Людмилы Шагаловой в память о фестивале. Фильмы тех лет не устарели. Они были сделаны с разной степенью талантливости, но добротны, неторопливы. В отличие от тех поделок, которые теперь лепят как блины и называют сериалами.

В 1950-е годы все мы увлекались итальянскими фильмами. Это было время расцвета неореализма. Выходили на экраны и французские ленты так называемой новой волны, и английские с Вивьен Ли в главных ролях. Долго мы не подозревали, что все они проходят придирчивую советскую цензуру, которая вырезала из них кадры, способные нарушить высокую мораль наших граждан. Но все же мы познакомились с искусством Жана Маре, Жерара Филиппа, Жана Габена, Симоны Синьоре, Даниель Дарье, Николь Курсель, Джульетты Мазины, Рафа Валлоне и других актеров. Обаятельная Лолита Торрес заразила нас задорными песнями из фильма «Возраст любви», снятого в Аргентине. Песни почему-то были о португальском городе Коимбра.

В бывшем Дворянском собрании находилась областная библиотека, в которой мы постепенно осваивались с помощью опытных работников библиографического отдела. Из них с особой благодарностью хочется вспомнить Елену Александровну Кондратьеву, отличного знатока и своего дела, и библиотечных фондов. Работа библиотекаря в те годы была очень кропотливой, не было никаких компьютеров, и содержание всего книжного богатства в надлежащем порядке требовало больших усилий.

Читальный зал был уютный и красивый, в нем было приятно заниматься. Заказы выполнялись быстро. Помню очень любезную Рахиль Давыдовну Пелевину, которая работала в читальном зале и одновременно училась заочно на нашем факультете. Вера Вениаминовна Печенская, Надежда Константиновна Карушкина, здравствующая и поныне, – это были люди, которые помогали нам в наших занятиях. Работал межбиблиотечный абонемент. Это тоже было очень важно и для меня, и особенно для мужа, который рано начал собирать материал для кандидатской диссертации и вообще много писал и печатался.

Постепенно и у нас дома накапливались книги, главным образом по литературоведению. За текущей литературой следили по журналам, которые стали выписывать с первого же месяца пребывания в Вологде. И сейчас большой стеллаж в моей квартире занят годовыми комплектами «Нового мира» с 1950-го по 1992 год. Это был лучший журнал на продолжении четы-

рех десятилетий. Выбросить его считаю кошунством, а отдать некому. Получали мы также «Октябрь», «Знамя», «Иностранную литературу», «Дружбу народов». В отдельные годы даже «Дон», «Звезду», «Юность», «Вокруг света». Теперь они доживают свой век в проданном деревенском доме и их читают новые хозяева. А почитать там есть что.

Нагрузки в институте были немалые. В первый же год я должна была прочитать 400 часов одних лекций, а еще – практические занятия, экзамены, зачеты, консультации. Получалось часов 800. Однако этим дело не ограничивалось. Необходимо было выполнять общественную работу. Партбюро назначило меня редактором институтской стенгазеты. Не приняли во внимание ни необходимость разрабатывать курсы, ни то, что я ждала ребенка. Отказаться было невозможно, ведь я была членом партии. Но, между прочим, никто не возражал, когда я отказалась от декретного отпуска и продолжала работать до самых родов.

И в дальнейшем какую только работу не приходилось выполнять! Но интереснее всего было отвечать за так называемую художественную самодеятельность (теперь это словосочетание как-то ушло в прошлое). Накануне смотров между факультетами, а их тогда было немного, разгоралась настоящая борьба. Каждый старался выступить как можно лучше и завоевать первое место. Занятые в смотре студенты на время забывали об учебе, и преподаватели старались этого не замечать. Во время концертов ревниво следили за успехами друг друга. Подозревали членов жюри в пристрастности.

Концерты получались интересные, остроумные, выявляли неожиданные таланты. Но каких это стоило усилий и даже нервов! И все же это было намного интереснее, чем, например, посещать студенческие общежития или высиживать часы на партийных или профсоюзных собраниях.

Была у меня и еще одна работа – я курировала институтское радио, когда наш факультет перебрался на улицу Мальцева. Наш студент Юрий Богатурия, впоследствии корреспондент Всесоюзного радио, а позже и телевидения по Вологодской области, начинал свою карьеру с маленького радиоузла на филологическом факультете. Отсюда передавались последние новости, у микрофона выступали наши поэты, в том числе уже покойные Виктор Коротаев и Леня Беляев. На всю мощностЮ Юра включил динамик 12 апреля 1961 года, когда передавали сообщение о полете Юрия Гагарина. Распахнулись двери всех аудиторий, студенты и преподаватели высыпали в зал и с восторгом слушали эту неожиданную новость. В такие моменты сердцем человека овладевает гордость за свою страну!

Но бывало и наоборот. Каждую осень студенты ездили «на картошку». Запомнилась одна такая поездка в деревню Непотягово. Была уже поздняя осень, шли затяжные дожди, поля раскисли. А бедные студенты, не имеющие соответствующей экипировки, в грязи и холоде выкапывали мокрые скользкие клубни. Я поинтересовалась, почему колхозники не принимают в этом участия. Мне ответили, что они не дураки работать в такую погоду. Обиднее всего было то, что выкопанная с таким трудом картошка не была вовремя убрана и замерзла в поле. Такие факты не прибавляли ни энтузиазма, ни гордости за свою страну.

Между тем городская жизнь становилась все интереснее и разнообразнее. В 1961 году было создано Вологодское отделение Союза писателей. Оно объединило пишущую братию области, в которой уже давно были известны такие прозаики, как Гарновский, Угловский, но недавно появились и новые, как, например, Василий Иванович Белов, входивший в литературу замечательными рассказами и вскоре покоривший всех своим «Привычным делом». В Вологде поселился приехавший из Архангельска Иван Дмитриевич Полуянов, большой знаток природы и обычаев Севера. Много лет работал в Вологде старейший писатель Виктор Азриэлевич Гроссман. В прошлом – историк русской литературы, исследователь-Пушкинист, он со временем стал пробовать свои силы в художественном творчестве. Свидетельством этого может быть хотя бы роман о Пушкине «Арион», изданный в Москве в 1960-е годы. Среди

вологодской писательской молодежи он выделялся как старейшина и многим помогал добрым советом.

Не порывали связи с родной землей Александр Яшин, Сергей Орлов, Константин Кони-чев, с которым мы особенно подружились.

Между тем набирала силу вологодская поэзия, представленная Сергеем Вику-ловым, Александром Романовым, Ольгой Фокиной, Виктором Коротаевым.

Успехи наших писателей дали повод современной критике говорить о появлении «воло-годской школы». На творческих встречах читатели обсуждали новые произведения, интере-совались планами авторов. Приезжали в гости писатели из Архангельской области, из Коми АССР, из Москвы и Ленинграда. Вот передо мной билет во Дворец культуры железнодорожников на литературный вечер «У нас в гостях писатели-земляки». Вечер состоялся 6 декабря 1964 года. В нем приняли участие родившиеся на Вологодчине Ю. Арбат, В. Дементьев, Ю. Доб-ряков, Ф. Кузнецов, К. Ломунов из Москвы, К. Коничев, Н. Кутов, П. Кустов из Ленинграда, П. Макшанихин из Свердловска, В. Соколов из Новгорода, И. Тара-букин (город не указан). Были заявлены еще С. Орлов, Ю. Пиляр, В. Тендряков, А. Яшин, но по разным причинам не смогли приехать. Конечно, выступали и наши – В. Белов, В. Гроссман, В. Гура, И. Полуянов, А. Романов, О. Фокина. В киоске продавались книги, писатели раздавали автографы.

7 октября следующего года на творческой встрече с читателями Василий Белов читал отрывки из новой повести «Речные излучки», а Сергей Викулов – новые стихи и отрывки из поэмы «Хлеб да соль». В вечере принимали участие артисты драматического театра, вел вечер Виктор Гура.

Большой переполох наделал в 1966 году Александр Яшин своим очерком «Вологод-ская свадьба». Ортодоксальная критика приняла его в штыки, объявила пасквилем на жизнь современной деревни. Обком партии организовал обсуждение новой вещи нашего земляка. Из студентов филологического факультета был выбран один, родом из Никольска, которому предложили опровергнуть написанное, что он послушно и исполнил, за что был подвергнут остракизму в студенческой среде. Между тем очерк не содержал никакого очернительства, а просто правдиво воссоздавал особенности бытового уклада и обычаев современной деревни. Конечно, это было далеко не так безоблачно, как в романах Бабаевского. Но Яшин ничего не хотел приукрашивать. Подобные сцены он не раз наблюдал в родной деревне Блудново Николь-ского района.

Интересной жизнью жили наши художники. В картинной галерее проходили персональ-ные выставки Корбакова, Баскакова, Тутунджан, Ларичева, Шваркова, Хрустальной и других, издавались небольшие каталоги. Главную роль в организации этих дел играл директор картин-ной галереи Семен Георгиевич Ивенский, поощрявший развитие графики и с самого начала поддерживавший талантливых Генриетту и Николая Бурмагиных и Владислава Сергеева. Воло-годская графика стала известна далеко за пределами области и даже страны. К сожалению, супруги Бурмагины рано ушли из жизни, и мы многого лишились в искусстве графики.

Люди творческие – писатели, художники, артисты – организовали что-то вроде клуба. Собираясь, устраивали капустники, придумывали пародии, комические сценки, дружеские шаржи. Кто-то сочинял, кто-то рисовал, кто-то разыгрывал на сцене, а кто-то, сидя в зале, весело смеялся, узнавая себя или своих товарищей. Душой всего была Джанна Тутунджан. До поздней ночи порой засиживались мы на нашей кухне, втроем придумывая программу оче-редного собрания.

К сожалению, все это сейчас утрачено, а как интересно было бы вспомнить некоторые придумки. Например, пародию на запись в книге отзывов картинной галереи: «Выставка очень хорошая. Особенно понравились стулья и девушка-экскурсовод». В сценке, представлявшей заезжего столичного критика, последний обращался с претензиями к известной художнице и, желая подсластить пилюлю, умильно называл ее через каждые два слова «голубчик». Весь

комизм этой сцены передать сейчас словами невозможно. Важна интонация, важны непосредственные реалии того времени и сами люди. Но получалось смешно, а иногда и остро. Встречи происходили в зале сегодняшней филармонии и были интересны как участникам, так и гостям.

В 1950-е годы стали появляться в городе люди, которых разоблачение культа личности вызволило из лагерей. В нашем доме поселилась супружеская пара Ивановых – Порфирий Дмитриевич и Вера Павловна. Отбыв 10 лет лагерей, Порфирий Дмитриевич был оставлен на поселении в Норильске, куда к нему приехала жена, и только в середине 1950-х годов им разрешили вернуться в Вологду. Он был инженером-строителем и сразу получил работу, а через некоторое время и отдельную квартиру неподалеку.

Его жена прожила удивительную жизнь. Она происходила из семьи Золотиловых, людей состоятельных, имевших большой дом на теперешней улице Гоголя. Рано осиротела и была отдана дядей в московский институт благородных девиц, кажется, Мариинский. Рассказывала много интересного о том, как девочек там воспитывали, и на всю жизнь усвоила понятия долга, чести и правила достойного поведения. После окончания института вернулась в Вологду. В годы революции и Гражданской войны нашла какую-то работу, и тут повстречала своего первого мужа. Он был назначен торговым атташе в Стамбул, и она несколько лет прожила в Турции. Затем вернулась с мужем в Ленинград и через некоторое время овдовела. Нашла работу секретаря-машинистки в Академии наук, кое-как перебивалась. В это время ее и нашел П. Иванов, который был к ней неравнодушен еще с детских вологодских времен.

Они приехали в Вологду во второй половине 1930-х годов, а в 1937 году П. Иванов был арестован. Веру Павловну долго не хотели брать ни на какую работу. Жила продажей некоторых ценных вещей, которые у нее еще сохранились. Наконец удалось устроиться судомойкой в вокзальный ресторан, а затем и получить повышение – ее назначили кастеляншей. Началась война, из осажденного Ленинграда поступали изголодавшиеся люди, которых прежде всего кормили на вокзале, и Вера Павловна принимала в них самое горячее участие, сопровождала в госпитали, иногда присутствовала при последнем вздохе. Вскоре после войны ее муж был освобожден из лагерей, и она смогла к нему поехать. Жизнь в Норильске была не из легких, но она считала необходимым делить ее со своим мужем.

Пережив обоих мужей, пережив сына и внука, Вера Павловна скончалась в возрасте 91 года в доме для престарелых в Молочном. Для меня она навсегда осталась примером стойкости, умения переносить трудности, верности своему долгу и просто красивой во всех отношениях женщиной. Такие люди не забываются.

Да, что-то было лучше, но многое было и хуже. Хорошо, что память удерживает больше положительных моментов и издала все рисуется в розовом свете. Наверное, это еще и потому, что «молоды мы были», что «искренно любили», что «верили в себя», как поется в одной замечательной песне.

2006

Игорь Шайтанов **Когда все только начиналось**

Проверенный мемуарный прием – начать с первой встречи и с первых впечатлений.

Где мы могли встретиться с Ириной Викторовной, я предположить могу. Либо у них в комнатах над рестораном «Север»... Я их почти помню – коридор, номера. Для середины XX века что-то архаическое – из какой-то предшествующей жизни.

Либо у нас – жилище вполне советское и по постройке, и по быту: четырехэтажное здание студенческого общежития над Золотухой на улице Лермонтова – с квартирами для преподавателей в крыльях. Однако и в комнатах, куда вход был прямо из коридора, преподаватели тоже жили.

Так что по крайней мере с местом действия есть некоторая определенность, но для впечатлений от первой встречи, увы, был слишком мал, и как в свои два года впервые увидел «тетю Иру», не запомнил.

Они с Виктором Васильевичем были люди не местные – ни по происхождению, ни по учебе. В более поздние годы приезжие среди преподавателей встречались все реже, но тогда – и пяти лет не прошло после войны – людская масса была в движении. И не только это: выпускник вуза ехал туда, куда его распределили. Так приезжала молодежь, нередко оседая на всю оставшуюся жизнь.

Среди людей старшего поколения многие приехали не по своей воле. Таких было немало в здании над Золотухой. В квартире, где я родился, в комнате напротив поселился писатель-пушкинист Виктор Гроссман. Для него это был перерыв между лагерями. Из второго лагеря он тоже возвратится, чтобы вместе с Виктором Гурой стать одним из трех основоположников вологодской писательской организации. Я его помню, естественно, в годы гораздо более поздние.

А вот годам к семи, обнаружив некоторые способности к игре в шахматы (они не разовьются за пределами детских лет), я брал доску и спускался вниз, где позади двух гипсовых комсомолок-спортсменок стояли скамейки. На одной из них мы молчаливо двигали фигуры с – я сейчас бы сказал – пожилым господином. Я совершенно не помню, чтобы мы с ним разговаривали или чтобы я как-то к нему обращался. Я знал только фамилию – профессор Гуковский. Сейчас я знаю, что его звали Матвей Александрович, что он – известный историк, брат еще более известного филолога, что вскоре после выхода в свет первого тома «Итальянского Возрождения» он был арестован, выслан из Ленинграда, посажен, потом на какое-то время оказался в Вологде.

Каким был исторический воздух? Страх помню. Еще бы его не было. У многих – и у моих родителей, и у Ирины Викторовны – в недалеком прошлом репрессии родных... Так что было чего бояться.

Помню лица родителей, когда из лучших художественных побуждений я раскрасил на листке отрывного календаря портрет не то Ленина, не то Сталина. Случалось и хуже: нянька вывела меня на прогулку, сунув в руку красный флажок. Подошли солдаты и офицер с траурными повязками. Я был нянькой схвачен в охапку и этапирован домой, где родители с ужасом прослушали историю о моей невольной политической акции. Это был день, когда объявили о смерти Сталина.

Вот такие первые впечатления. Но будет ошибочно предположить, что общую атмосферу определяли молчание и страх. Больше помню другое – праздничное. Сейчас кажется, что взрослые часто собирались, а когда собирались, было очень молодо и весело. Много смеющихся лиц. Разыгрывали шарады, поражавшие воображение своей театрализованностью, – в кого-то переодевались, кого-то изображали. Вместо тостов читали стихотворные послания и эпиграммы. Знаю, что мой отец и Ира Гура были среди первых авторов.

Эта жизнь продолжалась по-провинциальному долго, медленно, конечно меняясь, но не настолько, чтобы перестать быть узнаваемой. Из нумеров и общежитий переехали в отдельные квартиры. Быт становился благополучнее, а жизнь как-то старше, тише. Потом один за другим люди начали уходить, и съезживалась среда, сложившаяся в середине прошлого века, которую сейчас уже почти некому вспомнить.

Чтобы оживить память, приезжаю в Вологду, прихожу к Ирине Викторовне. Она рассказывает о том, что было тогда и что сегодня прочла в «Одноклассниках». Там неожиданно восстанавливаются связи, оборванные репрессиями в 30-х, войной в 40-х... И неудивительно, что именно к Ирине Викторовне сходятся эти некогда порванные нити, потому что в ее присутствии длится жизнь длиной почти в столетие, уводящая культурную память и еще много

далее – за горизонт советской эпохи к чему-то, что кажется почти небывшим, почти литературой. Было ли?

Приходишь на угол Козленской и Зосимовской (когда-то – недоброй памяти Урицкого и Калинина), поднимаешься на третий этаж – пятая квартира. Звонишь, как двадцать, тридцать, сорок лет назад: «Здравствуйте, Ирина Викторовна». И понимаешь – было, а главное – есть. Живо человеческое достоинство, мужество пережить и остаться собой, рассеять морок любого времени и порадоваться жизни, продолжающейся несмотря ни на что.

2014

Игорь Шайтанов **Учитель английского**

Мы встречаемся не часто. Скорее редко. Обычно где-нибудь на вологодской улице. И каждая встреча для меня начинается открытием, к которому пора бы привыкнуть: Зельман Шмулевич все тот же, каким был тридцать лет тому назад, когда классным руководителем выпускал нас из первой школы, и каким восемью годами ранее вошел в наш класс – учить английскому языку.

В вологодских вузах, техникумах и училищах для тех, кто на вопрос о преподавателе иностранного языка может ответить: «Щерцовский», – экзамен фактически заканчивается. С ними все ясно. Щерцовский – имя, гарантирующее качество. Качество, как будто бы даже независимое от способностей и желания ученика разобраться в хитросплетениях английских времен и выпутаться из немецкой фразы. Одни знают лучше, другие хуже (порой много хуже), но для всех иностранный язык перестает быть непреодолимым и пугающим барьером. Проходят школу, в которой если и не выучивают язык (из-за самих себя), то все равно (помимо себя) видят, как это делается, и при необходимости в будущем с неожиданной легкостью овладевают им.

Я думаю, что с этим умением от Зельмана Шмулевича уходят все, включая и тех, кому на его уроках неизменно выпадала роль героев-злодеев. Впрочем, кому она не выпадала? Стремительной, упругой походкой явление – не учитель, громовержец. Черной молнией взгляд – в класс. Застыли. Рука резко брошена на хлипкий учительский столик – вниз. Все, что на нем, летит к потолку – вверх. Гробовая тишина и сквозь нее: «РазгильдАи».

Незабываемый спектакль урока. Всегда завораживающий, в какой-то момент заставляющий оцепенеть от ужаса перед этим взрывом темперамента, но никогда не унижающий. Прежде всего потому, что не только обращение к ученику было на «вы» – нечастое в те годы, но и отношение к нему было на «вы», с внутренним достоинством и уважением. А урок был спектаклем, действием, без которого невозможно заинтриговать и, следовательно, вовлечь, делая каждого в классе участником происходящего. В те годы едва ли школьная методика предполагала создание атмосферы, путем погружения в которую нужно было учить языку. На уроках Зельмана Шмулевича была и атмосфера, и погружение в нее, столь необходимое тем, кто никогда не видели живого иностранца, не слышали живой речи. Это происходило благодаря великолепному знанию учителя, его таланту и доверию к нему: он знает, он ведь бывал там, для него языки не мертвый учебник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.